

ПРОЗА

Сергей РЯДЧЕНКО	
Человек для субботы	73
Григорий РОЗЕНБЕРГ	
Камера-обскура	158
Родион ФЕДЕНЕВ	
Фрегат	171
Дуня ЕЛЕНСКАЯ	
Два рассказа	192

Сергей РЯДЧЕНКО

Человек для субботы феерический недосказ об исчезнувшем междустрочье

...одно знаю, что я был слеп,
а теперь вижу.
Иоанн, 9, 25.

Какое-то время ему еще было тридцать пять, тридцать пять, а потом сразу стало сорок девять.

Он выбрал субботу подождливей, когда на улице трудно встретить знакомых, и отправился в ателье, где с добросовестной склочностью настоял, чтобы заказ выполнили сразу, в его присутствии; и на его знаменитом не меньше, чем он сам, абсолютно сером пиджаке появились овальные налокотники из принесенной им замши темно-коричневого цвета.

— Что называется! — сказал лысый портной, похожий на ленинградского Розенбаума. — Из шкуры заказчика! — сказал он и пошевелил усами; даже в эту дождливую рань, даже после проигранной склоки портной пребывал в добром расположении духа, потому что он хорошо с женой выспался, хорошо исполнил первую на день мысль, и мысль была хороша, а не наоборот, и позавтракал с рюмочкой, потому что завтра ж воскресенье, потому что портному нравилось, что он портной, а его работу можно было увидеть и потрогать, ее можно было надеть и носить.

— Говорю вам, — сказал он между прочим, — одесситом Он был, это точно вам говорю. Они к Нему, чтоб голову морочить, а Он им вопросом на вопрос: "Человек для субботы или суббота для человека?". Ну, что тут еще скажешь.

Кравченко пожал плечами, что было ему несвойственно.

— Ну, а они? — спросил Кравченко, и уж, что он в это вложил, разузнать можно только у него самого.

— Что, они? — не понял портной, а потом счел это тонкой хохмой и от души рассмеялся. А после, переводя дух, даже сверкуче покивал с умным видом, уразумевая: — Эх-хе-хеее.

Из ателье Кравченко отправился на службу и к двум часам пополудни прочел и почеркал зеленым, синим и красным пятисерийную версию "Копей царя Соломона", шестой вариант телеэпопеи о коллективизации и двухсерийный боевик для проката о подвигах чекистов в восемнадцатом году на юге Украины.

Каждый час он вставал из-за стола, приседал, кланялся и, откинув со лба чуб, останавливался, запыхавшись, у зеркала: седовласый, черноусый, голубоглазый, с румянцем во всю щеку. Ай да главный редактор!

Ровно в два часа дня Кравченко сложил прочитанное в стопку и отодвинул на край стола, а непрочитанное — в другую стопку и отодвинул на другой край. Теперь между массивным пресс-папье с бюстом Эйзенштейна и письменным прибором с перекидным календарем остались лежать две вещи — сценарий Ледоходова и режиссерская разработка Пети Тропинина. Читанные ранее, они лежали перед Кравченко, дожидаясь скорого разговора с двумя очень разными людьми. Кравченко не стал их куда двигать, накрыл газетой, плеснул кофе из термоса в пластмассовый стаканчик — были чашки, но ему нравился запах нагретой пластмассы, — и развернул бутерброд, один с сыром российским, а другой с куриной котлетой, а третий он не смог разобрать, с чем, снял трубку телефона и энергично набрал номер, прокашлялся.

— Послушай, дорогуша, что это ты мне тут намазала?.. Что кипрское?.. Повидло?! Кипр не выпускает повидла! Кипр производит джем... Нет, не все равно, тысячу раз нет!

— Джем, — вздохнула жена. — Джем-джем-джем.

— Ну так так и говори! Кушать же невозможно, черт побери, если не знаешь, что это такое. Джем, а не повидло!

— Теперь знаешь? — сказала жена. — Приятного аппетита.

Кравченко швырнул трубку.

— Дура, — сказал он.

Жена вернулась на кухню, села к чистому столу и продолжила писать письмо сыну в армию.

Каждый кусок своего обеда Кравченко, прежде чем проглотить, жевал тридцать два раза, а газеты читал подряд и опрометью, имея к тому немалый навык, и еще успевал поглядывать на приглушенный экран субботнего телевизора. Телевизор стоял у дальней стены просторного кабинета, справа от двери, там, куда в памятную ночь он сам себя и поставил. Громоздкий ящик с хрипотцой и экраном навькате. И ведь не был Кравченко суеверным, а этого состарившегося уродца на нелепых ножках почитал за знамение свыше и не позволял даже ремонтировать. Он и Скитальцу простил его недавний успех только в угоду памяти о том чудодейственном землетрясении, хотя сам по себе факт, что Скиталец, продержавшись столько лет, не сломался, не пошел ко дну, а довел таки до конца свою ду-

рацкую затею, этот факт был вопиющим и требовал немедленных комментариев. "Уму непостижимо", — сказал Кравченко, оказавшись в Москве на премьерке; он посмотрел картину от начала до конца, потому что был профессионалом и смотрел все, и ни разу в жизни не позволил себе покинуть зал во время показа. "Это что ж за такая акция?!" — вопрошал он, с ужасом убедившись, что "Скиталец" целиком снят по тексту 1970 года без каких-либо купюр или поправок, будь то в угоду злободневности или еще чему. "Не паникуй, — сказал ему Покровитель. — Зорче будем". Картину приняли на ура и положили на полку.

Кравченко любил работать по выходным. Он вообще не понимал, кому и для чего они нужны. Досуг длиною в целый день, а то и в два, представлялся ему тяжелым пережитком царского времени, и он свято верил, что рано или поздно мы избавимся от него со всей революционной беспощадностью. А пока этого не случилось, Кравченко сам трудился ежедневно и другим покоя не давал. Обожал, как смотрят на него вахтеры, когда он проходит пустынным субботним вестибюлем и без особой одышки поднимается к себе в кабинет. Любил постоять в приемной без секретарш и суеты, один, среди зачехленным пишущих машинок, и иной раз даже произнести негромко, но веско, какие-нибудь слова, на которые в будний день тоже мог бы, пожалуй, отважиться, но вот сыскались ли бы они ко времени, это еще вопрос.

Телепередача была рыхлой, и Кравченко ее мысленно перемонтировал в нескольких местах. Пришлось.

Газеты являли больший профессионализм, и Кравченко это отметил, хотя и без удовольствия; стройной драматургии сегодняшнего дня из газет не складывалось. То, что прежде Кравченко уверенно отыскивал между строк, теперь куда-то пропало. Кравченко дочитывал уже шестую газету и с тоской чувствовал, как растет внутри и вокруг него пустота. Спасительное междустрочье, ради которого он без малого три десятилетия следил за прессой, междустрочье, такое необходимое всем, кто положил себе за правило без уныния и лени быть активным среди противоречий огромного общества, путеводное и насущное междустрочье, посылавшее каждодневно невидимые сигналы Кравченко и его соратникам, дарившее бодрость и индугенции, направлявшее мысли и дела по единственно верному генеральному фарватеру, это самое междустрочье в ту дождливую субботу не прочитывалось, хоть убейся. А прочитывалось лишь то, что было набрано шрифтом и уложено в строки. Но Кравченко был бы не Кравченко, если бы поверил, если бы не почувствовал, что здесь кроется какой-то подвох.

Силища, которой он служил, исходила с такого высока и была такой необоримой, что сливалась в его представлении с абсолютной истиной, а абсолютная истина не может вот так взять вдруг и умолкнуть.

— Просто замаскировали, — укоризненно сказал Кравченко газетам и вдруг сообразил, что сбился в подсчете жевательных движений. Он притих и задумался. Если двадцать девять, рассуждал он, тогда осталось три раза, а если двадцать восемь, тогда четыре. Он решил не рисковать — раз, два, три, четыре, пять и шесть, — и только после этого проглотил очередную порцию сыра, хлеба, куриного мяса и кипрского джема, которые под действием его упрямых челюстей и активной слюны превратились в однородную кашницу, готовую для усвоения его вполне здоровым и вместительным желудком. — Замаскировали, значит? — Кравченко хлебнул остывший кофе и причмокнул. — А зря, братцы, ой, братцы, зря. Так у нас ничего дельного не выйдет... А может, шифр новый изобрели? Покрепче прежнего? Тогда надо искать ключ... А то истопчемся. Заблудимся. И накажут нас...

Привычка разговаривать в одиночестве, обращаясь к вымышленным оппонентам, к предметам мебели и туалета и к самому себе, эта привычка была многолетней, старше серого пиджака. Она успокаивала, порождала порядок из хаоса. Вот и сейчас Кравченко, высказав сакраментальное "и накажут нас", обрел во мгновение ока почву под ногами и стал недосыгаем для всяких невразумительностей. Он снова твердо сидел на незыблемой глыбе, на тектоническом ките, и было там высечено во всю ширь на все времена — **ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ**. Это Кравченко помнил наизусть: быть наказанным он ни за что не желает. А желает он быть оцененным по заслугам, и лучшая награда ему — незыблемость в кресле; но как раз ее-то, как говорится, ни бог, ни царь и ни герой — сражаться за нее надо день изо дня, с утра до ночи.

Кравченко вздохнул и, не сбиваясь больше с тридцатидвухтактного цикла, дожевал обед и завинтил термос.

Не глядя на экран, чтобы не пришлось снова переделывать чужую работу, Кравченко бочком приблизился к розетке и выдернул штепсель.

Затем он прошелся по кабинету.

Где бы Кравченко ни был, — дома, на улице или в командировке в столице, — он любил свой кабинет и часто, прикрыв глаза, представлял его себе смачно, во всех подробностях. И даже сейчас, разгуливая по кабинету, он представлял его себе, свой кабинет, не таким, каким тот был на самом деле, а таким, каким он себе его представлял, и что тут правда, а что нет, сказать не берусь.

У зеркала Кравченко упер ладони крест-накрест в подложные плечи серого пиджака и полюбовался налокотниками из темно-коричневой замши. Не опуская рук, он произнес в зеркало такие слова:

— Не вовремя, ох не вовремя, Сулеймен Янович, приспичило вам гражданской дерзостью щеголять! За вас наша студия в ответе. А студия вас, уважаемый, никогда не обижала...

Кравченко поморщился от жужжания уважаемого и обижаемого и сказал так:

— Никогда не подводила. Что, разве неправду говорю? То-то и оно, что правду, и одну только правду!

Он выдержал паузу и отредактировал: убрал "одну", осталось "только правду!", а то можно подумать, что у него дефицит этих самых правд, одну сказал, а больше нету.

— Зорко, — похвалил он себя. — Ничего не скажешь. Только правду!

Хвалил он себя по-деловому, без всякой фанаберии.

Отношения Кравченко с Ледоходовым складывались из такого количества тончайших нюансов, что постичь их разумом не представлялось никакой возможности; их требовалось зубрить перед каждой встречей и следовать им на высоком интуитивном уровне. Ледоходов был не просто старым заслуженным сценаристом. Он был старым заслуженным *московским* сценаристом. И эта пикантная особенность, упрощая многие сложности, делала сложным то, что просто.

Кравченко встряхнул руками, изменил выражение лица и сказал зеркалу грубо, по-отечески:

— Ты вот что, Тропинин, смотрел вчера твой материал. Да. Га-ли-мат-НЯ! Всё галиматня, да. Всё пересними. Понял? Ты не Бергман, понял? Не Ингмар. Ты не Феллини, понял? Не Федерико. Нет. У тебя кино о чем? О! То-то и оно, что о современном, о молодом, но! о нашем, а не об ихнем. Мракобес он у тебя с буги-вуги на мотоцикле...

Кравченко перевел дух. Последняя фраза пришлась ему по душе. Он ее повторил, прислушался, и, обратившись к зеркалу с вполне понятной доброжелательностью, сказал:

— Молодец, Кравченко!

А потом, опробывая новую интонацию, закончил:

— Уяснил, Тропинин? Давай, будет тебе паясничать, делай, переделывай, показывай...

Поздно, ничего Тропинин не будет переделывать. В этом Кравченко был уверен и потому не волновался. С Тропининым ясно. Дважды он его

уже провалил, провалит и в третий. Уничтожит. Слишком опасен — бессовестно молод и упрям. Крепкий орешек. К таким Кравченко был безжалостен, давил, ломал, переводил в разряд тех, кому можно дать или не дать последний шанс. Три списка было у Кравченко. Один так и назывался ОРЕШКИ, пополнялся редко, Кравченко из него вычеркивал. Второй был озаглавлен ОТСТОЙНИК, а третий — НОРМА; фамилии двух последних иногда менялись местами. На людях из третьего списка держалось все производство. Они работали без экивоков, а чуть хуже, чуть лучше — значения не имело. Искусство создавалось в Москве, и не всеми, а короткой обоймой избранных. А тут, где Кравченко, кино надо было делать, как надо, а не как кому в голову взбредет.

Изобразив на лице нечто новое, Кравченко произвел телом танцевальное па и пропел:

— Евочка-девочка, это я, можно к тебе? — и послал воздушный поцелуй.

Наконец он отпустил из зеркала свое изображение и вернулся к столу. Основательно устроился в кресле и принялся придумывать себе свое мнение по поводу прочитанных сегодня сценариев на основе прочитанных за всю жизнь газет. Пропавшее междустрочье вновь обеспокоило его. Он прикрыл глаза, добился внятного ощущения тяжести и тепла в ладонях и легкости с прохладой в голове. Вспомнил совет Покровителя: "Не паникуй. Зорче будем", — и заглянул в словарь русского языка: *копи, -ей* (устар.) *Сооружение для подземной разработки полезных ископаемых, рудник.*

— Та-а-ак, — протянул Кравченко. — Значит, не копи Соломона, а царские рудники. Этого еще не хватало!

Размышляя таким внятным образом, он принялся делать записи в крепко скроенном увесистом блокноте. Этот блокнот ему подарил один странный человек, приятель Скитальца; как ни крути, а все, что связано со Скитальцем, было странным, необычным, манило; Кравченко знал, что там его погибель, сопротивлялся, но подарки принимал с радостью. В ночь после землетрясения он случайно подглядел другую жизнь, испугался своего ликования и, чтобы не порушить наработанную философию, решил осознать себя частью всеобщего бытия: одни здесь, чтобы создавать, другие, чтобы корректировать, а все остальные — жадно требовать хлеба и зрелищ; они и получают приправой к своему ломтю результат единства и борьбы первых двух противоположностей. Я с ними, с первыми, размышлял Кравченко, с этими чудаками, один, но я им, психам этим, противоположен. Они нужны мне, чтобы я был нужен. Рождайтесь, фор-

мируйтесь, чудацьте, а остальное — за мной. Я позабочусь. И все же пробудившийся интерес к Скитальцу, к его друзьям, ко всем странным людям Кравченко считал в себе нездоровым. Грешок завелся, говорил он, маленький, но грешок, и оправдывал его профессиональной необходимостью и марксистско-ленинской диалектикой. Человек, подаривший блокнот, много лет проработал по разным границам, никогда не рассказывал о себе, зато был неисчерпаемым кладезем свежих анекдотов. От него исходил устойчивый дух оптимизма. Он на удивление здорово разбирался в самых неожиданных вещах, в том числе и в кино, поносил Кравченко и его коллег и с удовольствием посещал закрытые просмотры, куда неизменно являлся с очередной дамой сердца и представлял ее как свою дочь — они и вправду все были чем-то между собой похожи. Потом у него вышли какие-то неприятности, и он отправился то ли на пенсию, то ли в какую-то тьмутаракань, а блокнот продолжал служить Кравченко верой и правдой и доставлял неизбывное эстетическое наслаждение — он был в черном гладком, под кожу, переплете, он был пухлым и увесистым, его приятно было трогать и взвешивать на ладони, чувствуя основательность записанных в нем соображений.

Если пиджак Кравченко киностудийцы называли просто Пиджак, и все знали, о чем идет речь, то блокнот в кулуарах именовали более определенно — Черный Ворон. Кравченко знал почти все, что говорили о нем, — и в кулуарах, и в кабинетах, и дома на кухне, — знал и не обижался. Ибо постиг, что люди есть существа слабые, заблуждения и неблагодарность суть натура их. Люди требуют постоянного редактирования, вот и все. Для того он, Кравченко, и пришел на землю, для того и трудится тут, не жалея ни себя, ни других. Ради торжества гармонии, говорил он, во имя великого равновесия идей! На чем бы Кравченко ни настаивал, что бы ни запрещал, за этим всегда стояло его природное стремление сохранить любой ценой равновесие, не дать системе покачнуться, а то ведь все полетит к чертям, и потом, когда мир будут собирать заново, есть риск обнаружить себя среди лишних осколков. Вот как тут все устроено на второй, нет, на третьей от Солнца планете. И потому Кравченко не обижался, Кравченко редактировал.

Он посмотрел на листок перекидного календаря. Суббота. Март. 198...

Да-а, середина восьмидесятых, что тут скажешь; если такая середина, то как же дальше? Дальше как?

— Шифр, — сказал он. — Нужен ключ. Тогда поглядим...

А пока что никаких "Копей". Никаких царей и Соломонов. Вычерк-

нуть. Поверх зачеркнутого он размашисто намалевал коричневым фломастером рабочее название "Зулусское сокровище". Вот так. Очень даже рабочее. Комар носу...

В приемной зазвонил телефон. Кравченко в кабинете снял трубку.

— Да. Вызывал такого. Пропустите, будьте любезны, дорогая.

И закончил мысль:

— Не подточит.

Обожал он работать по выходным. И с текстами, и с людьми. Тексты как тексты, а людей он вызывал, им он назначал, и они могли попасть к нему в субботний кабинет только после проверки документов и унижительного ожидания, чем закончатся телефонные переговоры невоспитанной охранницы с главным редактором.

Кравченко достал из стола и поместил в левую ладонь эбеновую трубку, подарок одного странного человека, с которым он свел знакомство лет пять тому в Пицунде; в прошлом капитан дальнего плавания, он стал режиссером в сорок один год, и первый же его фильм перенес его из категории начинающих режиссеров в категорию режиссеров опальных. Одни потом говорили, что он уехал, другие — что застрелился, мало ли что говорят. С горизонта он исчез, а трубка осталась. Ох, уж эти странные люди.

Кравченко убрал со стола газеты, с грохотом положил перед собой подшивку указов Госкино и терпеливо слушал, как в приемной кашляет и дудит в платок старый заслуженный москвич Ледоходов. Ледоходов постучал.

— Да-э-э, — Кравченко принялся листать подшивку. Дверь приоткрылась, и Ледоходов с порога пробормотал что-то вежливо-вопросительное, примерно так:

— Добрый день, вызывали? Добрый день?!

Кравченко устремил на Ледоходова задумчивый голубой взгляд и, не отнимая от зубов эбеновой трубки, сказал устало, почти шепотом:

— Вы, Сулеймен Янович, разденьтесь в приемной, уважаемый, мы с вами не на вокзале, нет.

Ох, нюансы, все нюансы, все эквилибристика — по натянутой струне хамства над бездной задушевности.

Ледоходов в приемной снял черный пузатый тулуп с мохнатой шапкой, сделался тощим и подвижным и, опережаемый сиплым дыханием, вернулся в кабинет, потирая уши, быстроглазый, длинноносый, в стеганых ботах и очень пожилом костюме фабричного производства.

Кравченко снисходительно хмыкнул: человек продает по три сценария в год, а одевается, как собиратель пустых бутылок — прием не нов, как и сам отечественный кинематограф, — мол, возьмите сострадание к сироте убогому, не дайте пропасть, а дайте денег по договору, и не мало, а много, и не потом, а сейчас. Московский Ледоходов, торгующий сценариями на периферии, это особая, ни на что не похожая профессия.

Кравченко совершил экономный, не лишенный изящества жест (да здравствуют зеркала!), указав трубкой на один из двух стульев, придвинутых вплотную к невысокому столику для посетителей, который, в свою очередь, упирался в нависавший над ним стол главного редактора. Стул справа был скрипуч и шаток, стул слева тих и обыкновенен. На него и указал Кравченко.

Ледоходов поспешно сел и, продолжая тереть уши, остановил свой неприкаянный взгляд на медном Эйзенштейне. Кравченко зажал бюст великого мастера в кулаке, и Ледоходов был вынужден поднять глаза и посмотреть в лицо главному редактору. Кравченко прокашлялся, припомнив свою речь перед зеркалом.

— Ну были бы вы, Сулеймен Янович, скажем, писателем, членом Союза писателей, так и расхлебывали бы сами бы все, что ни напишете. Так нет же, нет, уважаемый, вы, уважаемый, сценарист, да, и притом сценарист уважаемый, — за вас наша студия в ответе, а вы что же? Опять, выходит, нахамили, — Кравченко потрепал по заглавию ледоходовский сценарий, распухший, нахохлившийся от заложенных в него цветных карандашей. — Кому, позвольте спросить, вы дерзость свою являете?! Правительство вас читать не станет, а мне эти ваши так называемые обличения социальных несовершенств, простите, уже вот где! — Кравченко громко похлопал себя по шее. Хлопки выпорхнули из-под его ладони неожиданно звонкими, почти веселыми, и Кравченко тут же мысленно их отредактировал в сторону большей солидности, этаким монументальной классической гулкости, но это мысленно, а наяву уж вышло, как вышло.

— Видите ли, Юлий Вадимович, — проговорил Ледоходов, убедившись, что его партия, пора вступать, и голос у него оказался, в свою очередь, неожиданно низким, — вот бы Кравченко лупить себя по шее в таком регистре, да? хорошо бы, — а неглаженный Ледоходов и впрямь звучал, представьте себе, басовито гулко и басовито глухо в одночасье, — вот же ловкач! — но не так, как если бы он говорил, скажем, в бархатную портьеру, а совсем иначе, как если бы он обращался к Кравченко сквозь старую стенку из потемневшего кирпича; такие кирпичи для строительства бога-

тых или особо престижных зданий в начале века привозили к нам в город корабли из Неаполя, и каждый кирпич был завернут в вощеную бумагу, и на каждом стояла крупная печать во славу труда и замысла. Случись, что в этом месте нашей повести читатель воскликнет: "Помилуйте, да причем же здесь кирпичи?!", рассказчик окажется в затруднении и сможет ответить лишь весьма приблизительно: у Ледоходова бас, а кирпичи из Неаполя, Неаполь в Италии, а в Италии "Ла Скала", где, как известно, только и делают, что ставят оперы и поют, поют их на разные голоса, в том числе и басом, круг замкнулся, бас — бас! а кирпичи где-то посередине. Но читатель искушен, и такое формальное объяснение его вряд ли устроит. И тогда рассказчик вынужден будет отважиться на полную откровенность и сознаться, что первопричиной лирико-кирпичного отступления явился искренний порыв, толкнувший нас прочь из кабинета главного редактора на улицу под холодный дождь, который сделал яркими не похожие друг на друга крыши домов, отмыл узоры кованых решеток и придал блеск надежно сплоченной брусчатке бульвара, а затем все тот же необоримый порыв заставил нас свернуть в Кирпичный — кстати сказать! — переулок и выйти на обрыв над морем и взглянуть на шторм до самого горизонта, вдохнуть его соленый пенный простор и подумать разом о всех проплывших тут кораблях и о людях, которые правили этими кораблями, и о других людях, которые жили на берегу, растили детей и воевали врага, пахали землю и сеяли хлеб, тачали сапоги, шили одежду, возводили дома, писали книги и сажали деревья. Вдохнуть простор и озариться на миг смыслом безграничного бытия. Не спрашивай больше ни о чем, досточтимый читатель, ибо рассказчик уже, хотим мы того или не хотим, возвращает нас в кабинет и намерен, собравшись с духом, досказать нам историю о главном редакторе Кравченко, не погрешив перед истиной и не отступая впредь от известной ему череды событий. Последуем за ним, ведь глупо, отправившись в путь, вернуться с полдороги.

— Не в оправдание, — прогудел Ледоходов, — а фактически... Ваш покорный слуга, — он кратко кивнул коротко остриженной головой, — слуга ваш покорный, *тиша*, — он выделил это слово, взойдя ради него на баритон, — *тиша*, — повторил он и сошел к прежним вибрациям, — прежде всего озабочился усилением остросюжетности, а не бичеванием кого-то или чего-то. Я, извольте видеть, уже не мальчик, а и помоложе был — фрондерством не прельщался. Наоборот, никогда себе не позволял.

— И все же на старости лет позволили, — Кравченко, зажав трубку в зубах, полистал сценарий по заложенным карандашами страницам. —

Откуда, черт возьми, ипподром? Почему вдруг ипподром? И что это за люди тут шастают, они у вас кто, букмекеры подпольные? Болты они в томате у вас, вот кто, а не букмекеры! Вы бы еще, прошу прощения, публичных девок сюда нагнали и — туда же их! в забег их по дорожке! По беговой! А что? Долбать-то будут Кравченко, а не Ледоходова.

— Ну зачем же так утрировать, Юлий Вадимович?! Кстати, о проститутках сейчас пишут.

— Да пускай они делают, что хотят! — в сердцах воскликнул Кравченко.

— Кто, проститутки?

— Те, кто пишет, — отчеканил Кравченко, поднялся из кресла и, приложив к груди левую руку с трубкой, заходил по кабинету. — Вы что же, Сулеймен Янович, хотите сказать, что не видите разницы между тем, что пишут, и нашим с вами самым массовым, самым важным из всех искусств?!

— Этого я сказать не хочу, — прогудел Ледоходов и дунул в платок на разные голоса, куда там шотландской волынке.

— Формировать должны! Воспитывать! А не колотить сердца злобной правдой, — Кравченко вернулся в кресло. — Еще такой ракурс. Вы, уважаемый, эту правду, эту самую, так называемую, хоть раз в глаза видели? Она что, вся на ипподроме? Вы ж наверняка в трамвае, милочка моя, не ездите, а вот кичитесь какой-то лошадиной экзотикой. Ну разве ж это типично? Нет, говорю вам, неправда ваша правда.

— Ну почему? — сказал Ледоходов. — Езжу в трамвае. Зимой как раз за руль не сажусь, скользко, знаете, не обучен, а в метро мне, покорнейше прошу, дышать не дышится. Так что как раз трамвайчиком, извольте, очень даже.

— Прекрасно! — зловеще подытожил Кравченко. — И кого же вы, Сулеймен Янович, видите в том трамвае? А? Одних только букмекеров долбанных с шантрапой и проститутками? В трамвайчике! Одних только блядей всяких со всякими уркаганами?! Просто замечательно!

— Во-первых, в моем сценарии проститутки нет. Во-вторых, в трамвае, дорогой Юлий Вадимович, там одна публика, на ипподроме другая, под рестораном "Интурист", извольте видеть, третья, а...

— Ладно! — Кравченко стукнул кулаком по столу и сломал желтый карандаш. Ледоходов вздрогнул, желтая щепка застряла у него в волосах. — Вернемся к нашим баранам. Похерили вы, Сулеймен Янович, уважаемый, собственную заявочку, удалились от нее на дистанцию, прямо скажем, непозволительную. Положа руку на сердце, — Кравченко прицелился трубкой Ледоходову в грудь, — замечу вам не как главный редак-

тор, а просто как читатель с большим опытом, как старый добрый читатель, вам в этих обличениях изменяет и чувство вкуса и чувство меры. Да, да. Пускай это плеоназм, — это слово Кравченко уж произнес так произнес, — плеоназм, пускай, но именно так — ни вкуса, ни меры! С какой стати вдруг эта дикая, дьявол нас забирай! сцена в милицейском участке?

— Позвольте, — сказал Ледоходов и проволынил носом в платок пошотландски. — Позвольте. Это, смею утверждать, планомерное и, смею полагать, профессиональное развитие сюжета. В заявке я указывал, что героя по ошибке арестовывают, спутав его с хулиганом на дискотеке.

— Вот именно! По ошибке. Спутав. Давайте условимся: как спутали, так и распутали, а? Видят — ошибка, извинились и отпустили.

Ледоходов приложил к вискам указательные пальцы и стал задумчивым. Кравченко внимательно посмотрел на него, заподозрил, что тот готовится грюкнуть дверью и сыграть оскорбленного автора, перестал ломать карандаши и тоже принял задумчивый вид.

— Ну, если вам так уж нужен конфликт... Я и сам чувствую, что здесь что-то такое требуется.

— Вот видите, — уныло пробасил Ледоходов.

— Тогда давайте без извинений.

— Так лучше, — Ледоходов протрубил в носовой платок.

— Повезут его в машине, — сказал Кравченко строго, по-отечески. — Но до участка не довезут, не надо участка. Стой! Скрип тормозов. Выходи! Понимаете? Давай, давай, парень, иди, ошибка вышла. Р-р-р-р-р-р! и укатили. А? И оскорбленный герой бредет по ночному Ленинграду...

Ледоходов вскинулся так резко, что где-то что-то хрустнуло.

— Почему по Ленинграду?

— Подумайте, Сулеймен Янович, — сказал Кравченко, смягчаясь, — может быть, все-таки можно его туда как-нибудь... Его должна спасти красота. Понимаете? Он идет по ночной колыбели революции, а кругом красота, и историческая, понимаете, и какая вы хотите. И герой проникается пониманием ничтожности, понимаете, своей обиды, видит наконец всю незначительность того, что с ним, понимаете, приключилось, в сравнении с нашим, понимаете, историческим прошлым, в масштабе всего, что у нас было, понимаете, есть и будет. А? Понимаете?

У Ледоходова на лице отразился ужас пополам с натужным, непритворным желанием уразуметь главного редактора и выстоять под напором его закусившей удила фантазии. Ледоходов перестал трубить в платок, хрустеть и покашливать, он больше не стрелял по кабинету глазами, а неотрыв-

но теперь смотрел на Кравченко, который, отбросив трубку, одной рукой ерошил седую шевелюру, а другой, ухватив за бюст медного Эйзенштейна, утюжил тяжелым пресс-папье свой стол и лежавшие на нем бумаги.

— Но нет! — воскликнул Кравченко вдохновенно. — Что-то не дает нашему герою покоя, тревожит, мешает слиться с гармонией. Проникнуть. И тогда, случайно, он столкнется лицом к лицу с тем хулиганом из дискотеки, помните — он и там хулиганил, он и тут, нетрезвый, оскорбляет священную тишину исторической набережной похабными куплетами. Наш герой его задержит, да, интернирует, обезвредит, свяжет и доставит в участок. Вот вам и участок, только внутрь не надо, пожалуйста. Оставит его на пороге, вот так, с запиской: "Вот, мол, тот, кого вы искали на дискотеке". И подпись: "Тот, мол, кого вы с ним спутали, но кто на вас, мол, не в обиде, и все такое, а напротив — всегда готов оказать содействие!". Вот такая записка. Нажмет кнопку звонка и уйдет в ночь. Только слышно, как за спиной истошно хрипит хулиган: "Дяденька, отпустите, я больше не буду-у-у-у-у!". А потом все тихо. И теперь уже герой шагает по колыбели в совершенно другом настроении. Знаете что? Наверное, имеет смысл преклонить колени.

— В каком смысле?

— В том смысле, уважаемый, что грядет тысячелетие крещения Русматушки. Мнение, насколько могу судить, все больше формируется в сторону того, что, хотим мы или не хотим, а тысячелетие это самое следует, в известном смысле, уважить.

— Помилуйте, Юлий Вадимович, да причем же здесь мой сценарий?!

— Минуточку, — сказал Кравченко. — Герой преклонит колени и поцелует гранитные плиты набережной. Улавливаете? Он не на икону молится, а гранит целует. И это на фоне адмиралтейского шпиля, символа, так сказать, могучей государственности. Мы же не попы с вами, так сказать, какие-нибудь, верно? нам же никуда с вами, согласны? не надо отделяться, правильно? Тут и вера, и атеизм разом, в едином порыве! А, ловко? А рядом течет река, как символ вечной жизни. И тут же гранит, символ народного созидания. А там шпиль адмиралтейства — символ символов! Вот как мы с вами поклонились. Наш народ, великий народ, он непокорную стихию жизни заковал в гранит, а сам сбросил с себя оковы, воздвиг шпиль и воспрям духом на вечные времена. И герой наш тоже воспрям!

— Замечательно! — сказал Ледоходов, трубя в платок и заражаясь кравченковским азартом. — Пусть Павел здесь тогда Пушкина продекламирует. Коротко, без назиданий, для души.

— Какой еще Павел?

— Ну, Павел. Герой мой. Наш герой.

— Не думаю, — сказал Кравченко и снова взял трубку. — Павел, говорите?.. Нет, не надо сюда ни Пушкина, Сулеймен Янович, ни декабристов. Будем откровенны, Сулеймен Янович, не все ж с ними еще ясно. Мы и так тут с вами по лезвию бритвы. Согласны? Но, если спросят, мы готовы: вера в народ. Кстати, — в отличие от декабристов, да... Но конструктивное в ваших словах имеется. Пусть он запоет, только не чье-нибудь, а свое. Давайте я свяжусь с Рождественским. Роберт Иванович мне не откажет.

— Ну зачем? — сказал Ледоходов. — Песню я и сам могу написать, если надо. Здесь река течет, бам! здесь гранит лежит, бам! здесь рассвет встает, бам! жизнь идет вперед, бам!

Ну, чем вам, честно, господа, не Ла Скала.

— Я тоже могу, — сказал Кравченко холодно. — А впрочем, воля ваша. Ваше дело сочинять, мое — вычеркивать, — он мягко, на три такта, рассмеялся. — Ха. Ха. Ха, — Пауза. И еще три такта: — Ха, ха, ха.

Ледоходов в поддержку закашлялся.

— Прodelал вашу работу, — улыбнулся Кравченко. — Расхожее мнение: редактор потому и редактор, что сам-де придумывать не умеет, сочинять-с-с-с. А я вот с вами развдохновенился. Смотрите, сколько наворотил! И ракурс новый появился, и проблемность. И без всяких там этих "я обвиняю, а вы уж как хотите!". Нет! Мы созидаем, вот как оно теперь. Мы оптимисты, хоть и трудно нам, а все же. А все же! Верно?

— Юлий Вадимович, — сказал Ледоходов честно и проникновенно и еще раз прочистил горло. — Я все понимаю, я ваш должник.

— А вот это бросьте, уважаемый. Бросьте. К авторам в карман мне залезать ни к чему. Мне за мою работу государство платит. Это ведь я только так пошутил для куражу, что тружусь вместо вас, любезный Сулеймен Янович. На самом деле я как раз делаю то, что должен делать. Только я уже троглодит, мамонт, бизон, динозавр. Таких, как я, больше нет. Вымерли. А ведь я еще застал редакторов, работавших с Сергей Михалычем, с Барнетом, с Довженко, с Абрамом Роомом, Алексеем Толстым, Олешей, с Пудовкиными братьями, да, представьте себе, они не орфографию правили, для этого штат положен корректоров, они в общий замысел жизнь вдохнуть помогали, они художественность возвращали, удобряли ее своим трудом непоказушным, — Кравченко почувствовал, что говорить ему вдруг стало трудно, щеки пылали, шевелюра то и дело требовала жесткой

Тут уж ничего не поделаешь. Он так и сказал: *заместо*. (Прим. рассказчика.)

пятерни; он поверил словам своим и на мгновение узрел целиком чистоту своих помыслов, и неловко даже как-то ему сделалось, подмывало кричать шепотом или же шептать громогласно. Кравченко наскоро совладал с голосом. — Я, Сулеймен Янович, мелкой взяткой их светлую память не оскорблю, нет. Считаю себя их преемником, да, а вот кого после *себя* оставить, не вижу, нет. Так что давайте спешить трудиться, пока я жив.

Это было уже абсолютным экспромтом, и Кравченко подивился, откуда у него такие мысли. Что значит, пока жив? Всего только сорок девять. Не накликай бы беды. И чтобы исправить произведенное им самим на себя впечатление, он поспешил добавить:

— Лучший подарок мне — хорошее кино. Ну, а если сувенир, так сказать, на память о совместных муках творчества, так это что-нибудь для спорта. Бегаю, знаете ли, трусцой, а люди смотрят: Кравченко жмот, в дранье бегаёт. А его просто не достать нигде, не-дранье.

— Я узнаю, — сказал Ледоходов. — У меня есть знакомства, — он пожевал губами, — в спортивном мире.

— Так я позвоню?

— Лучше я вам.

— Да нет, причем тут, — Кравченко смел со стола в корзину поломанные карандаши и зажал в зубах трубку. — Я насчет песни, пусть хороший поэт слова напишет. А? Я позвоню, ладно? Шлягер будет.

— Ладно, — сказал Ледоходов. — Пусть будет...

— Ну, вот и славненько.

— Ну, вот и славненько, — Ледоходов шустро встал. — В ваших краях я дней на пять, столичная круговерть продыху не дает, требует к себе, на коротком поводке, знаете, так что приходится торопиться. Второй вариант представлю к среде, а может, даже во вторник, пусть вас не удивляет. Я все учту.

— Приносите, заходите, поглядим, — Кравченко вышел из-за стола, пожал Ледоходову руку. — Сулеймен Янович, а вы ведь тоже старая гвардия. Держитесь, бога ради. Я без вас затоскую.

— Вашими молитвами, Юлий Вадимович. Всего доброго.

— А молодые ничего слышать не хотят, — вздохнул Кравченко. — Все без толку.

Ледоходов вышел в приемную и плотно прикрыл за собой дверь. Зазвонил и умолк телефон. Ледоходов, посапывая, снял с вешалки и натянул на себя пузатый тулуп с мохнатой шапкой, щелкнул замками дипломата и,

прежде чем положить в него сценарий, поплевал через левое плечо и постучал увесисто по столу костяшками пальцев. Прислушался. Отдышался. В дипломате лежала точно такая же папка с переделанным вторым вариантом. Вернее, вторым, хоть и подавался первым, был тот вариант, который Кравченко вернул Ледоходову, а текст в папке в дипломате Ледоходов написал с первого раза, угадав в нем почти все пожелания главного редактора, за исключением тысячелетия русского христианства. Но подавать этот первый как первый было смерти подобно. Кравченко бы его зарубил на корню, потому что согласных заранее на дух не переносил, они распатывали его веру в собственную необходимость. Все это Ледоходов уразумел и изучил давным-давно наизусть, и потому на основе первого, подаваемого вторым, создавал второй текст, подаваемый первым, куда вносил парочку крамольных изменений, достаточно безобидных и, тем не менее, достаточно непроходимых для любого главного редактора. Таковы были правила. Кравченко играл в эту игру, потому что считал ее не игрой, а делом, а Ледоходов — потому что в нее играл Кравченко, и обойти его не представлялось возможным. Ледоходов учел все, — даже город на Неве! — а вот с тысячелетием как-то промахнулся. И теперь недоумевал, как это он, пожилой человек, мог прозевать такое. Посетовал на себя Ледоходов, посетовал, закрыл дипломат и пришел к выводу, что крещение, будь оно неладно, всплыло в разговоре равным образом неожиданно, как для него, так и для самого Кравченко. Знал Ледоходов за Кравченко такие редкие минуты вдохновенных экспромтов. Он вообще был склонен видеть в натуре главного редактора глубоко схороненную под спудом официальных указов и ворохом личных установок азартную ее сторону. Поступим так, сказал себе Ледоходов, в одном месте: ударили колокола, и с куполов слетела черная туча ворон, а в другом — аист на крыше дискотеки, и все! никаких иных челобитных, две страницы перепечатаю и баста! Благодарить еще будешь, что я не поддался на твои клерикальные бредни, такого нагородил, сам же, небось, не рад... Ледоходов заключил, что вдохновения, подобного сегодняшнему, он за Кравченко прежде не замечал. Может, влюбился? Ледоходов беззвучно хохотнул, закашлялся, подумал: нелепость какая, быть того не может, чтобы сам Юлиан Непрошибаемый, да нет, вряд ли, всегда бдителен, всегда настороже, всегда охотник, хищник в рыске, никогда не жертва, непрошибаемый, нет... Хотя... Поживем — увидим. И Ледоходов отложил на время гадания о неожиданном своем подозрении, а вместо этого заменил усталый, измученный платок на свежий и благоуханный и, протрубив в него для порядку, направился к выходу, и стал как вкопанный. Прохрипел:

— Что вы на меня так смотрите?!

В углу приемной у двери сидел взъерошенный человек с глазами раненого оленя и неотрывно следил за действиями Ледоходова.

— Пардон, — человек вздрогнул. — Замечтался.

— Напугали, — сказал Ледоходов. — Вы давно тут сидите?

— Тропинин! — донесся из кабинета вальяжный рык. — Ну, где ты там? Заходи! Я не кусаюсь.

— Тропинин? — Ледоходов удивленно вскинул брови. — Так я вас помню. Вы отказались от постановки по моему сценарию. Помните? В прошлом году.

— Может быть, — Тропинин пожал плечами и вошел в кабинет.

— Ты вот что, — сказал Кравченко, как только Тропинин переступил порог. — Смотрел я твой материал. Все галимат-НЯ! — он указал трубкой на скрипучий стул.

Тропинин стул потрогал, но садиться не стал.

— Короче, — сказал Кравченко и принялся ломать новый карандаш. — Мое мнение тебя интересует?

— Нет.

— Даже так? Ну что ж, в понедельник худсовет.

Тропинин кивнул.

— Отстраним мы тебя, братец. Не тянешь. Не твоя картина.

— Пока еще моя. До понедельника еще ого-го. Суббота ведь.

— Ну тешь себя, тешь, — Кравченко смел в корзину обломки карандаша. — Шел бы ты, друг любезный, вагоны разгружать. Вот что. Плечищи вон какие... Остальное я тебе выскажу на худсовете. Там тебе мое мнение покажется интересным. Ох, интересным.

— Знаете, — сказал Тропинин и пошел пятнами, как после парной. — Раньше я думал, что вы просто болван, знаете? Тупица. А теперь вижу, да, вижу, что нет, не просто, совсем не просто.

— Вот и хорошо, — сказал Кравченко, — что теперь ты видишь.

Тропинин хотел еще что-то сказать, но, сбившись с дыхания, махнул рукой и вышел.

— Это хорошо! — крикнул ему вслед Кравченко. — Это очень, черт тебя, Петенька, дери, хорошо! — и швырнул эбеновую трубку в ящик стола. — Видит он! видите ли, — прошелся по кабинету. У зеркала, дернув головой, откинул со лба ниспадавший чуб, — движение некогда модное, а теперь почти забытое среди нашего населения. Интрига с Тропининым была сложной,

многоходовой, но его ершистость все упрощала — стал человек говорить то, что думает, значит, конченный человек. Пусть попсикует до понедельника — и как раз прогорит дотла. В этой картине снималась Ева, картина должна быть шумной, громкой по максимуму, но не на полку, а в прокат, вот чего Тропинин понять не может и рвется, дурачок, в опальные режиссеры. Обойдешься, в бездарях посидишь, а там посмотрим. Картину же домудрим до счастливого финала, до самого настоящего хэппи энда: постановку — сыну кого положено, а художественное, во спасение, руководство — предложить Монстру, он ас, в этом спору нет, да еще породнился с Любавским, директором, женившись на его дочурке. Сынок с Монстром — это сила, за них худсовет ухватится руками и ногами, и, между прочим, картина от этого только выиграет. А это означало, что личные интересы Кравченко совпали с интересами отечественного кинематографа.

Кравченко присел на подоконник, прижался щекой к матовому стеклу и вспомнил тот вечер, когда он впервые почувствовал вкус к настоящей интриге, не бумажной, а живой, трепетной, с конкретным, не отходя от кассы, результатом. С тех пор он поднаторел, изведаль вкус интриг долгоиграющих, длиною в год и более, постиг неизбежность интриги бесконечной, по замкнутому кругу, призванной поддерживать устойчивое равновесие. Но память о первом своем опыте Кравченко сохранил нетронутой, во всех подробностях, избавил ее от привычного редактирования и время от времени возвращался в тот вечер, желая обрести новую уверенность или просто так, без видимой причины. А результат и по сей день стоял в его кабинете справа от двери, напоминая о давней победе.

Давным-давно, много лет назад, в пору молодости как-то поздно вечером случилось в нашем городе землетрясение.

Сперва раздался гул, будто двинулся вдруг за окном тяжелый товарняк в сто вагонов. Кравченко в кресле и Скиталец на скрипучем стуле оба умолкли и повернули головы к темному окну, в котором отражался кабинет — зеркала, шкафы, портреты и они оба по разные стороны стола.

— Сейчас, кажется, тряханет, — сказал Скиталец.

— Оставьте ваши байки, — отмахнулся Кравченко. — Так вы и пишите — все неправда. Мы же не в Ташкенте!

Люстра под потолком подвинулась, где-то повсюду раздался грохот, здание вздрогнуло, пресс-папье качнуло бронзовым Эйзенштейном, снова раздался грохот, и последовал первый внятный толчок, портативный Горький в рамке под стеклом неглавного портрета дрогнул усами, забыли-

ковал, здание подпрыгнуло и тяжело гупнуло в гудящую землю, стремительно распахнулись дверцы шкафа, одни, вторые, гул стих так же внезапно, как возник, а толчки следовали один за другим, разносильные, разностремительные, разнонаправленные, и кабинет ходил ходуном, и под ним что-то страшно стучало, посыпались книги из шкафа, а за ними еще, Кравченко ухватился за пресс-папье и крепко держал его обеими руками, беда, шептал он, беда, беда-то какая, скрипучий стул под Скитальцем рассыпался, и Скиталец могуче полетел на пол, распахнулись двери кабинета, одна створка, вторая, — хлоп-хлоп! — по ту сторону приемной пришла в движение дверь с табличкой "Директор", отворилась — грюк! — и другая створка безымянно: грюк! Скиталец поднялся, не устоял, рухнул, — дзинь! — разлетелся по потолку плафон люстры, Скиталец крикнул из-под стола: "Юлий Владимович, ко мне!", — посыпались осколки плафона — Кравченко сполз под стол в пространство между тумбами, согнулся в три погибели и, прижимая к груди пресс-папье, попросил кого-то: "Все ясно. Хватит уже. Я понял. Все ясно". В пустом и темном директорском кабинете раздались шаги, заглушаемые лишь гупаньем фундамента в беспокойную земную твердь. Шаги, шаги, шаги.

— Кто там? — крикнул Кравченко. — Кто это?

— Гамлетов батянька, — отозвался Скиталец, — кто ж еще!

Из черноты директорского кабинета, через приемную, вразвалку, громко стуча в пол, на укрывшихся под столом Кравченко и Скитальца надвигался огромный, неотвратимый телевизор о четырех ногах. Со стены упал главный портрет. Повернув голову на шум, Кравченко встретился с ним взглядом, не узнал и отвернулся. Кабинет перестал подпрыгивать, его охватила крупная дрожь. Телевизор не дошел до стола, подпрыгнул и пустился вспять бочком и курцгалопом, прижался к стене справа от двери, покачнулся и замер. Стало тихо. Качалась люстра, уже не в силах дотянуться до потолка оставшимся плафоном.

— Отбой, — Скиталец выбрался из-под стола. — Немцы улетели. А пыли тут у вас!

Пыль клубилась повсюду, растревоженная, агрессивная. Кравченко чихнул и подобрался к портрету.

— Тут веревка перетерлась. Вы умеете вязать узлы?

— Вязать узлы, — кивнул Скиталец, — и бегать по вантам.

Вдвоем они водрузили портрет на прежнее место, чуть выше прежнего, потому что узел укоротил веревку. Теперь под портретом темнела узкая полоска невыгоревшей стены.

— Порядок, — сказал Кравченко. — Спасибо.

Скиталец оглядел кабинет и хмыкнул:

— Ай да порядок!

Тут они оба увидели телевизор справа от двери у стенки, увидели заново, переглянулись и расхохотались.

— Послушайте, — хохотал Кравченко, — мне ж никто не поверит, что он сам сюда приперся.

— Где ж это видано, — хохотал Скиталец, — чтоб от директора ушел его телевизор.

— Заметьте, не просто взял себе да ушел, — попискивал и поскуливал главный редактор, — а ушел-то он ушел от *него*, а пришел-то он, пришел-то ко *мне*!

Они хохотали, и слезы катились у них из глаз, застревали у Скитальца в бороде и в усах у Кравченко. Задыхаясь от хохота, они мотали головами, и слезы окропляли стол и раскрытый на нем сценарий, который так и назывался "Скиталец", и Кравченко с ужасом чувствовал, что испытывает счастье; он был счастлив случившимся, тем, что пережил настоящее, не на экране, землетрясение, что повываливались из шкафа книги, что разбилась люстра, что даже портрет упал со стены и уже повешен на место, но прежде все-таки упал; он был счастлив присутствием в его кабинете чужого неправильного человека; подевались вдруг куда-то границы между правильным и неправильным, и Кравченко случайно узрел одну неделимую жизнь и окунулся в нее с головой, погружаясь все глубже в неотредактированность происходящего.

— Мой телевизор! — задыхался Кравченко. — Никому не отдам. Это перст судьбы, это знамение.

— Не поверят, — задыхался Скиталец, — правда, правда всегда невероятна.

— Но вы ж свидетель, вы же живой свидетель.

— Вам нужен не живой, а авторитетный.

— Это как подать. А я вас подам, как надо.

— Кому?

— Директору, директору.

— Послушайте, — выговорил Скиталец, утирая рукавом бороду. — Эдак нас с вами кондратий хватит. Вы коньяк тут не держите?

— Держу, — с удивлением услышал Кравченко свой ответ, хотя точно знал, что собирался сказать "я на службе не пью, уважаемый", но, видно, хохот помешал.

— Хотели сказать "нет", а вышло "да"? Не расстраивайтесь. Обычный

эффект. Любовь к ближнему сразу после катаклизма. Чувство насколько яркое, настолько и краткое. Пока оно не прогорело, где ваш коньяк?

— В сейфе, — сказал Кравченко, прикладывая платок к мокрым щекам. — Если не разбился.

— Так доставайте.

— А как?

— Ключом откройте, рукой достаньте. Есть у вас ключ?

— Да.

— Где?

— Здесь, — Кравченко похлопал себя по карману серого с подложными плечами пиджака. — Тут.

— Вот и чудненько. Возьмите его. А теперь...

— Дальше я знаю, — виновато пробормотал Кравченко. — Я же не идиот. Просто очень смешно и спать хочется. Вам тоже? Ну вот, — он открыл наконец тяжелую дверцу сейфа, — ну вот, вроде целая.

Скиталец в три хлопка вышиб пробку в золотистой фольге.

— Что вы делаете?

— А вы как думаете? — Скиталец вытряхнул из черного стакана разноцветные карандаши, и они покатались по паркету. — Пейте!

— А вы?

— Я тоже.

"Что ж я делаю? — недоумевал Кравченко, — что ж я делаю?!" Зазвонил телефон. Кравченко перевел дух: ну что там еще? Звонила жена сообщить, что у них с сыном все в порядке, а как у него?

Скиталец записал в блокнот: "Землетрясение. Она звонит ему, а не он ей. Он вешал портрет. Он очень ценный работник".

— Что вы все пишете? — Кравченко повесил трубку.

— Прочесть?

Скиталец прочел. Кравченко хмыкнул, развернул платок в поисках сухого места. Сказал: — Как вы уразуметь не можете?.. Пишете, а не понимаете. Мы же с вами почти ровесники, но редактор у нас всегда взрослый, а ваш брат всегда маленький, сынок, потому и сочиняет.

— Точно, умно, откровенно, — констатировал Скиталец.

— Жаль мне вас искренне, — Кравченко протянул черный стакан. — Пропадете, если не переделаетесь. А директору нашему я подам вас как талантливому драматургу с богатым жизненным опытом, мол, изведал и пот, и романтику мужественных профессий.

— Еще одна правда, — простодушно сказал Скиталец, — которой опять же никто не поверит.

— Зачем? Я ему "Скитальца" дам. Завтра воскресенье. С утра завезу. В вашем сценарии вашу личность за версту видать. А в понедельник с утра вы тут как тут. Мол, так вот и так! Возьмем его в оборот с утра пораньше.

— Крепко, — сказал Скиталец.

— Ну сказал же, мой, сказал, не отдам, значит не отдам.

— Кого?

— Ну телевизор! Вы к понедельнику таким авторитетным будете, что ого-го. А прочесть я его заставлю.

— Действительно крепко, — восхитился Скиталец. — Я б такого не выдумал.

— Вот видите, — сказал Кравченко, переводя дух. — Я ж говорю, детский сад.

— Ну, вы уж прямо нож к горлу. Не продохнуть.

— Ну, а что ж? С китами вот у себя в сценарии возитесь. Это что ж, это как? Вы что ж, действительно не соображаете, что несмотря на всю возможную глубину мирового океана, киты ваши в рамках первостепенных задач нашей могучей, нашей исполинской державы, киты ваши являют собою, извольте видеть, не что иное, как оголтелое мелкотемье. Да. Невзирая на всякие там Мариартовские, ну, как их там, Мариинские?..

— Марианская впадина? — предположил Скиталец.

— Вот именно. Невзирая на них, на нее, и на собственные размеры этих самых ваших кашалотов, да. Нет. Все мелкотемье. Вопиющее. Неужели вы действительно не видите, не чувствуете, — Кравченко потер щепоть у носа, протянул Скитальцу, — ну, нюхом, что ли?

— Знаете что? — сказал Скиталец и плеснул в черный пластмассовый стакан. — Хотите? Так вот, Юлий Вадимович. Как вы выражаетесь, *извольте видеть*, рабочий день для нас с вами на сегодня закончен. Согласны? А посему слушайте сюда. Вот что. Я один раз свалился за борт прямо на кита. Представляете? В Антарктике. У острова Кергелен. Чуть шею себе не свернул. Но это полдела. А в том же рейсе спустя тридцать семь суток эта история получила совершенно невероятное продолжение на траверсе Земли Мэри Бэрд. Хотите расскажу?

— Так ведь наврете с три короба.

— Не обещаю. Ваше здоровье.

Они расхаживали по кабинету, переступая через цветные карандаши и обломки рухнувшего стула, хрустело стекло, Кравченко слушал Скитальца, и у него дух захватывало; он отказывался верить, но и не верить ни-

как не получалось, и когда наконец сверкнула ослепительно волшебная развязка, Кравченко, вырываясь из-под чар, затараторил свою историю в скоропалительной попытке сберечь в себе остатки здравого смысла; его история тоже была невероятной, но иначе, по-бытовому, без всякой мистики, Скиталец вежливо внимал, уточнял вопросами, даже выказывал изумление, они обменивались стаканом, иногда брали друг друга под руку, и наконец заговорили наперебой то об одном, то о другом, то обо всем сразу. А потом еще полночи сидели в каком-то подвале, в мастерской художника, среди приятелей Скитальца, пели под гитару, пили кислое вино на брудершафт и разглядывали картины в духе гиперреализма. Цокали языками.

— Ладно, Юлиан, — сказал Скиталец, — приду свидетельствовать.

В понедельник Кравченко провел директора по разгрому двух кабинетов.

— Вы прочли? А вот и автор.

— Гм, — сказал директор. — Козырьков Тимофей Палыч, — он вяло пожал Скитальцу руку и выслушал из его уст историю о пришагавшем телевизоре. — Вот ведь как бывает, — вздохнул он. — Юлий Вадимович, зайдите ко мне на минутку.

У себя в кабинете он вопросительно поднял брови:

— Что все это значит? Я прочел. Супруга даже всплакнула. Но, Юлий Вадимович, душа моя, согласитесь, что это же не лезет ну ни в какие ворота!

— Оч-чень рад, что мы с вами мыслим одинаково, — сказал Кравченко. — И мнения придерживаемся общего. Обоснованного.

— Уффф, — сказал директор. — Ну, удружили... А я уж, грешным делом, решил, что вы меня под монастырь... Юлий Вадимович, оставьте, пожалуйста, телевизор у себя. Я так понимаю. Он вам для работы нужен. А мне нет, я кино не люблю.

Вернувшись к себе, Кравченко возвестил:

— Победа! — и похлопал по телевизору. — Премного вам благодарен. Прочел он вашего "Скитальца". Будете переделывать?

— Нет, — сказал Скиталец. — Зачем же.

— Жаль. Примите мои соболезнования.

— А вы — мои.

Скиталец забрал "Скитальца" и ушел, отправился в свой трудный путь.

Как он выжил, уму непостижимо, сукин сын. Кравченко слез с подоконника и вернулся в кресло, покончил с "Царскими рудниками" и, перевернув страницу блокнота, взялся за трехсерийную коллективизацию. Иногда он снимал трубку, набирал чей-нибудь номер и говорил с деловой вальжностью:

— Я тут на службе... Тревожу вас вот по какому поводу...

Начинал он всегда одинаково, заканчивал по-разному. На том конце провода узнавали не голос Кравченко — голос у него был никакой, — узнавали его интонацию; узнав, трудно переключались с субботнего отдохновения на тяготины служебных перипетий, возражали, потом соглашались и, облегченно вздохнув, вешали трубку. Кравченко не любил говорить: я работаю. Он любил говорить: я на службе, я тут на службе, служу честно, и так далее. Никогда не говорил "нет", а тем более "да". А так говорил: "Надо сделать, чтобы было все правильно" или "Просто правильно это еще не совсем правильно, а надо, чтобы совсем было, исключительно правильно, вы меня, надеюсь, правильно понимаете?".

Он посмотрел программу "Время", опять не обнаружил того, что искал, и его сердца коснулось недоброе предчувствие, но он отпихнул его, сложил портфель и, прежде чем выключить свет, набрал свой домашний номер.

— Я ухожу, — сказал он.

— Ужин готов.

— Я от тебя ухожу. Хоть это ты можешь уяснить с первого раза?!

— Да... Я знаю.

— Что ты знаешь?

— Ну, эту женщину.

— Не мели чепухи! Какая женщина?! — возмутился Кравченко по привычке. — Да у меня на это и времени нет, — добавил он второпях и вдруг сообразил, что врать больше не нужно, можно не врать теперь, кончилась необходимость, нужды нет, вся вышла, и ему даже не по себе стало, обидно сделалось. — А впрочем, — сказал он. — Впрочем, как знаешь... Я найду на днях за вещами...

Жена молчала. Кравченко аккуратно, плавно опустил трубку на рычаги, выключил свет и покинул пределы любимого кабинета.

В приемной он набрал другой номер и сказал в трубку другим голосом, предварительно выслушав хрустально-звонкое "Аллллло":

— Евочка-девочка, это я, я иду, я лечу.

— Рубикон? — хрустальный вопросик.

— Рубикон перейдён.

— Ура!

Застегивая пальто и поправляя перед зеркалом шляпу, Кравченко торопливо задумался над тем, почему совершил звонки по двум разным аппаратам, и усмотрел в этом нравственную сторону своей природы, тем более высокую, что проявилась она не напоказ, без свидетелей. И он сообщил зеркалу:

— Интеллигентно, молодец!

Первую половину воскресного дня Кравченко провел, гуляя по парку Ленина с Евой и доберманом-пинчером по кличке Киссинджер, в просторечии Джерри, который носился взад-вперед, распугивая голубей и ворон. Сейчас бы в самый раз, думал Кравченко, вспоминая, как много лет назад у него в кабинете Покровитель предлагал ему перебраться в столицу, а Кравченко отказывался, не хотел заново начинать. "Хорошо, — сказал Покровитель, — только потом не просись, здесь — значит здесь". Затея Кравченко теперь разговор о переезде, Покровитель поставит на нем крест, решит, что струхнул, продавился. А в столицу сейчас было б в самый раз, и для Евы, и для всего. Поближе к междустрочью. Светило солнце, Кравченко вспотел, Ева держала его под руку, и он деловито раскланивался со всевозможными знакомыми, а Ева звонко покрикивала "Джерри! Джерри!" — и склоняла голову к Кравченко на плечо. Незавуалированность этой прогулки льстила его самолюбию, он испытывал двойной прилив бодрости, который, в конце концов, окончательно его утомил.

После обеда он прилег на диван.

— Юля, отдохни, — попросила Ева, отбирая у него и сценарий и цветные карандаши.

В старом доме Кравченко бы вспылит, начитал бы всенепременно нотацию о почетном долге, об ответственности за судьбы и прочее, а, может, даже и о высочайшем доверии партии и правительства и в их лице, а что? всего советского народа, а тут, у Евы, он сладко зевнул, потянулся, сказал "а впрочем" и уснул. И приснился ему сон. Вообще Кравченко сны не снились, а тут приснился. С другой стороны, он и днем-то не спал никогда, а тут позволил себе. И увидел он во сне "Скитальца". И добросовестно кинулся его редактировать. "Не бейте китов! — требовал Скиталец. — Не смейте бить китов! Они же живые. Они же разумные. Они, как мы. Они лучше. Дружить с ними. Учиться у них. Повышать осознание. Сотрудничать!" Мастер подмигнул шкиперу, шкипер боцману, боцман матросу, а матрос юнге, но юнга не справился, куда ему! и тогда матрос подмигнул сам себе, толчок в спину, и Скиталец полетел с шаткой палубы в штормящий океан. — Убрать! — потребовал Кравченко. — Ну, в крайнем случае, волной смыло... А Скиталец уже на острове, скачет голяком из пены прибоя, что твоя Афродита! только с причиндалами, хороводит в яркоглазом племени, обожаемый всеми девушками на выданье, веселый, умелый, деловой, наводит, играючи, невиданный доселе уклад-порядок, ну, а Кравченко, естественно, его тут же упорно дезавуирует; сперва, само собой, ле-

пит Скитальцу лавровый, — нет, не то, убрать! — фиговый (и не убирать!) листок куда следует, тот не лепится, и Кравченко сердится, сердится, а потом в сердцах крушит все, что Скиталец в племени понастроил, и тут же всю по-редакторски кидается насаждать свою, взрослую, правильную, поясняет туземцам: "аутентичную!", справедливость; но, увы, сон не задался, и Кравченко, — просто спятили все, честное слово! — предстал в нем вдруг отвергнутым и непонятым, ибо языки любые и теперь, и всегда давались ему и во сне, и наяву с превеликим, к тому же Сизифовым, трудом, а Скитальцу, — разрази его гром! — с дурацкой ренессансной легкостью, и вот Скиталец по-ренессансному растолковывал сызнова своим обожателям, что к чему, и заново, напеваючи, воздвигал им свою недоразвитую, опять же детскую, для всех, справедливость, а Кравченко, понимаешь, весь сон напролет прозябал среди мангровых зарослей в сыром дискомфорте вынужденной аскезы, и оттуда, из царства крабов, гадов и москитов, взывал, выбиваясь из сил, на языке жестов, к мудрости глупых вождей, и, себя не жалея, требовал принести Скитальца наконец в жертву богам, и дело с концом, и всем будет самый раз, и всем будет правильно — их же, дураки безмозглые, собственным богам, за них же, тупиц недоразвитых, собственно, и ратовал, для них же, болванов, корпел, страдал, уродовался...

Пробудившись, был раздосадован не столько самим фактом сна и даже не сюжетом, сколько степенью его детализации. Знал по опыту, что излишние подробности запросто могут растащить любую драматургию. В том числе и саму судьбу. Надо бы додумать там все наоборот.

Но тут Ева позвала ужинать по-воскресному.

Неприятности, как им и положено, начались у Кравченко в понедельник. С утра позвонил Покровитель, поздравил с юбилеем. "Как, уже?! — изумился Кравченко, — что-то чересчур быстро..."

А потом Тропининский материал на худсовете прошел, пронесся на "ура". И даже Кравченко вынужден был для стенограммы высказать что-то вроде: "пожелаем и дальше режиссеру продолжать не хуже, а лучше, а не хуже, а учесть все, а не упустить ничего, и в том же духе, а не иначе, и только так и не иначе". Для стенограммы он умел говорить, как никто другой. Интонации в стенограмму не идут, и он варьировал ими в широчайшем диапазоне, а слова говорил разные, обычные, расставляя меж ними, как вехи, другие слова, всеильные, если правильно ими пользоваться: **идеологически верный** или, соответственно, **неверный**, потом, чуть

что, значит, **соц!реализм** и антиподом ему, соответственно, **реализм**, тут как тут, **сюр**, потом, знаете, такие слова еще: **культура, эстетическое чванство, искажение действительности, поклен, для народа — во имя народа, три источника, три составных части, подрыв основ, наши идеалы**, и, соответственно, **не наши, мракобесие, буги-вуги, битлы патлатые** — все сразу и не упомнишь. Была еще формулировка — **искажение авторского замысла** — на тот случай, когда выразиться покрепче не представлялось возможным. К ней Кравченко и попытался прибегнуть в злополучный понедельник, но она потонула среди вороха похвал.

То, что Тропинин не хотел уничтожаться, еще можно было б понять, с этим Кравченко бы справился. Но дело, увы, представлялось куда более запутанным. Материал для худсовета был расчищен и выстроен нетропининской рукой. Более того, основная нагрузка в нем, и эстетическая, и концептуальная, лежала на двух-трех эпизодах, которые накануне, в пятницу, Кравченко и вовсе не показали. Вот так-так. Чья же это рука? Неужели Монстра? Похоже. Но зачем ему? Кравченко стал соображать, что же он такое проглядел в сегодняшней расстановке сил в родном, не баловавшем его прежде сюрпризами, коллективе. Ответ сыскался почти незамедлительно. Сразу после худсовета директор Любавский мягко взял Кравченко под локоть, под его теперь замшевый локоть, и увлек в неспешную прогулку по асфальтовой дорожке киностудийного двора, над морем, вдоль забора с металлической сеткой. Внизу под обрывом, далеко и внизу, сливаясь то там, то тут с тяжелым небом, заштилевшее море хмурилось полосками ряби в ожидании шторма и грозы. Любавский был директором относительно новым, еще года не прошло, как прислали его на смену уличенному Столапину, который в свое время принял эстафету от незабвенного Тимофея Палыча Козырькова, почившего в бозе. Любавский был приветлив и доброжелателен, голоса не повышал, много ходил пешком, вникал в производство. Крестьянский сын с безупречной анкетой, ибо угадал начать трудовой путь не с чего-нибудь, а с завода, подмастерьем у горнового где-то чуть ли не на Урале, потом, как водится, годик горновым, институт заочный, комсомол обычный, заводской, потом освобожденный, секретарство, потом райком, потом второй, и — партшкола, и вот вам готовый руководитель крупного предприятия с особой идеологической нагрузкой (КРУПОСИНа), например, типографии, киностудии, издательства или, скажем, фабрики по изготовлению лозунгов и транспарантов для демонстраций, съездов и конференций. Говорили, что к ним сюда он пришел именно с такого, достаточно замкнутого, скорее всего, но-

мерного производства. Кравченко, конечно же, не мог не понимать, что в таком вышколенном омуте и черти обязательно должны водиться не чета обычным, но особых опасений Любавский у него не вызывал, Любавский его устраивал.

— Странное дело, — заговорил Любавский, вытирая платком лысину. Он не был старым, он был просто лысым, с пшеничной опушкой вокруг розового блеска. — Кабинеты наши рядом. Видимся каждый день. Трудимся рука об руку. А поговорить по душам все времени нет.

"Ого, — насторожился Кравченко, — как издалека! Что то будет?"

— А ведь я вас, Юлий Вадимович, откровенно побаиваюсь.

— Вы меня?! — интонация Кравченко точна, как хлыст дрессировщика.

— Представьте себе. Смею думать, что в условиях нашего производства вы просто феномен...

Ударение на второй слог.

Государство в том году потребовало через своих (не путать с диктаторами) дикторов центрального телевидения от своих же (не путать с рабами) граждан ударять это слово именно вот таким диковинным образом, не феномен, нет, а феномен. А ведь всю жизнь феноменом был. Кравченко вздохнул, поморщился. И заподозрил, что Любавский другого ударе-ния и не знал никогда, и потому ему легко было, а не трудно. Не трудно ему было, представьте, а легко.

— Должность ваша, Юлий Вадимович, если начистоту, придумана для битья, вы согласны? Грянул гром, сменили главного редактора. И опять все спокойно, ясно, ведро, готовы к новым громам и баталиям. Вы же, Юлий Вадимович... Вокруг вас такие дубы валяются, а вам хоть бы что. Более того, умудряетесь погоду заказывать... Я на вашем счету каким буду?

"Ох, лиса, волчара матерый, — думал Кравченко, — как же я его проглядел? Ведь казался затурканным".

Над морем сверкнула молния, гром добрался до берега не сразу, полупешепотом.

— Вы, наверное, думаете, — снова заговорил Любавский, — что я хозяйственник до мозга костей. Так-то оно так, но, сознаюсь вам по секрету, раз уж разговор у нас такой, начистоту, люблю кино. Очень люблю.

"Ай, яй, яй, — думал Кравченко, — что же это происходит? Где же я ошибся? что проворонил? почему сообразить не выходит?.." Он и представить себе не мог, чем этот разговор намерен был завершиться.

— Иными словами, Юлий Вадимович, времена сейчас непростые. Как их уразуметь? А никак. Терпение. А излишняя активность, пусть даже из-

воротливость, может пойти во вред. И не только вам лично, а всему нашему коллективу. А вот за коллектив уже как раз я и отвечаю. Вы человек опытный и должны меня понять.

— Иными словами, — Кравченко подхватил интонацию Любавского, решив, что молчать дальше еще опасней, чем высказываться, — вы предлагаете мне сузить круг, так сказать, профессиональных интересов?

— Совершенно верно! — Любавский искренне обрадовался формулировке и поглядел на Кравченко с симпатией. — Вы, Юлий Вадимович, меня полностью устраиваете в качестве главного редактора. А директорствовать позвольте уж мне по собственному разумению.

Любавский говорил то, что думал. Или почти то. Для Кравченко это было ново. За долгие годы в редакторском кресле он привык думать одно, а говорить другое. Он настолько в этом преуспел, что теперь сразу думал не то, что думал, а то, что надо сказать. Сейчас ему сказать было нечего.

Приближалась гроза. Любавский, увлекая за собой Кравченко, свернул с асфальтовой дорожки на аллею, ведущую к зданию, где располагались их кабинеты. Прогулка была закончена. Кравченко перевел дух и расслабился, а зря.

— Кстати, — сказал Любавский. — На этой неделе сплошные торжества. Завтра вас чествуем, юбиляра. Поздравляю. Лично вручу грамоту. Непростую. Высокую. Заинтриговал? Терзайтесь. А в четверг у нас свадьба...

— Какая еще свадьба?! — опешил Кравченко. Он почему-то решил, что Любавский напрашивается к ним с Евой в гости.

— Свадьба моей дочери.

— Так сколько ж у вас дочерей?! — возмутился Кравченко. Ведь совсем недавно Монстр женился на дочери Любавского, еще и года не прошло.

— Дочерей у меня три, — рассмеялся Любавский. — Средняя замуж выходит. Будем вам очень рады, Юлий Вадимович. С супругой.

— Спасибо. Поздравляю. А кто жених?

— Увы, — Любавский развел руками и притворно вздохнул. — У меня в доме все помешаны на кино.

— Неужели опять режиссер?!

— Угадали, Юлий Вадимович. Да вы его знаете. Петя Тропинин.

Пока Кравченко, закрывшись в кабинете, набирал московский код, а тот срывался, и Кравченко набирал его снова и снова, за окном разразилась настоящая буря; грохотал гром, сверкали молнии, налетал шквалами гудящий ветер и кряхтели, закипая юной листвой, старые деревья. Номер

наконец набрался, и Кравченко в ожидании соединительного зуммера раскрыл свой черный блокнот и вычеркнул Тропинина из ОРЕШКОВ, внес его в другой список, который бумаге не доверял, а хранил в голове; были там детки своих родителей, племянники тетюшек и племянницы дядьев, кузены с кузинами, сладкие друзья и полезные враги, а рядом с ними инициалы сильных мира сего, лучшего из всех подлунных. Тропинин проник в это честное общество как ЗЯТЬ НОМЕР ДВА с инициалами Любавского. Целиком этот список Кравченко не доверял даже своей памяти. На том конце провода трубка наконец была взята, и Кравченко, стараясь не выдать паники, долго говорил на эзоповом языке, выясняя прочность Любавского. То, что он разузнал, настроения ему не прибавило. Матовое стекло разлетелось вдребезги, осколки со звоном посыпались на пол, и в окно, перечеркивая кабинет, просунулась колючая ветка рухнувшей акации. А Кравченко все говорил и говорил по телефону.

Ночью ему опять приснился сон.

Он его честно отредактировал, просмотрел заново, не удовлетворился, чикнул ножницами и опять просмотрел, но что-то все же его не устраивало, тогда он разобрал сон на шестьдесят шесть частей и отрезал от каждой кусков по десять, а потом долго не мог смонтировать, монтировал, складывал, не складывалось, наконец все-таки кое-как сложил, склеил, просмотрел, охнул и запретил вовсе, положил на полку и проснулся в изнеможении.

Была ночь.

Такого с Кравченко еще не случалось, чтоб вот так проснуться посреди ночи и не спать.

Утром впервые в жизни он отправился на службу в скверном настроении.

И служба эта впервые в жизни почудилась ему не в радость.

Не получалось в тот день у Кравченко упиваться властью по тонкому острию и вкушать ароматы интриги с душком и хрустом.

Не возникал в груди сам собой положенный ему, Кравченко, по штату, безо всяких оговорок, просто за выслугу лет, восторг во всю грудь от сознания своей личной включенности в гигантский неизбывный хоровод *важной, признанной* жизни.

Ощущался в то утро дефицит некой, если хотите, свойскости, возвращенной им за долгие годы бдительных усилий, этакой свойскости окружавшей его среды.

Вот.

Возник собака-дефицит и не выходит, подумал он вдруг, сходу,

не очень ловко, просто чтобы не бездумствовать, и чтобы там где-нибудь наверху его бездумие нельзя было ухватить и потрогать, и распознать, а потом отнять его у него и выставить напоказ, на всеобщее обозрение, в витрине позора как знак согласия Кравченко с чем-то таким, с чем Кравченко не был согласен категорически, а не был он категорически согласен с тем, что его, Кравченко, можно вот так вот голыми руками на ровном месте среди бела дня ни с того, ни с сего.

Рассосется, подумал Кравченко. Ну, не может же.

Однако могло, однако не рассасывалось.

Занудно ему сделалось — вообще, и по организму.

Может, поджелудочная? стал он гадать. А, может, простатит? Он не разбирался ни в том, ни в другом, но, бывало, в тиши кабинета, оторвавшись от бумаг, ускользал неосмотрительно мыслию к своим органам и тревожился по их поводу, недоумевая, супился, мучил себя всевозможными телесными подозрениями, а, опомнившись, бросался опростетью:

*прочь от сомнительного тела
в надежность дорогого дела!*

Работа, любимая, обожаемая им служба искусству отечественного кино неизменно его выручала, дарила неповторимое ощущение безопасной, если хотите, опасности, вечно, знаете ли, живой неуязвимости. Но в тот день никакая служба почему-то не спасала, и тревоги о здоровье, оголодавшие, набросились на беззащитного Юлия Вадимовича и рвали его на куски. Один в кабинете, главный редактор пыхтел, терпел, мужествовал.

Зазвонил телефон.

Уф! перевел дух Кравченко, ну, наконец-то!

Значит так, решил он, если новость не совсем уж клятая, то кто бы сейчас этот человек, что звонит, ни был, уж спасибо ему, что не забывает, что звонит, что от мыслей гадостных оторвал, отрывает, —

*от мыслей отрывает,
звонит, не забывает,
какой же молодец,
неважно, что подлец, —*

кто бы, что бы, а я его должник до гроба, нет, зачем же до гроба, не надо, я и так его отблагодарю, сразу, незамедлительно, так уж отблагодарю, как никогда никого, честное партийное, и не надо нам гроба никакого, зачем нам гроб, обойдемся ну, всё, по рукам! и он снял трубку. Звонил Ледоходов.

— Дорогой вы мой человек, — сообщил Кравченко, выслушав ледоходовские вежливости и супервежливости. — Уж не знаю, как вам

и сказать, как я по вам соскучился!.. — с каждой фразой Кравченко отходил все дальше от недавнего приступа слабости, ускользал от неведомой опасности и, спасаясь, проникал все глубже в полный шорохов безграничный эфир, впитывался в него, овладевая. — А вы как думали!.. Ну, и что с того, что всего пару деньков? Да, денечков. Кто времени измерил глубину? А?.. Представьте себе, соскучился... И никакой эзоповости, милейший Сулеймен Янович, прошу заметить, в моих словах не обитает... Нет... И в подтверждение не сочтите за труд, любезный вы наш драматург неизменный, побывать, скажем так, гостем моих скромных пенатов не позднее как сегодня в вечеру, этак, скажем, в девятнадцать ноль-ноль... Да, совершенно официально... Форма одежды любая... Отказы не принимаются... Вот и славненько... Дом видный, найти не трудно. Ждать буду с нетерпением. Пишите адресок...

Повесив трубку, Кравченко еще более оживился. Эх, я! еще могу, и без натуги... Ох, я тебя, Сулеймен, приму!.. Мы вас так, Сулеймен Янович, по первому классу, примем, что ты, пожалуй, и рад не будешь... Шучу, шучу, так сказать, атмосферы ради... Заходи, дорогой, заходи, почувствуй себя, как дома, как в столице... И, не покидая пределов кабинета, да что там кабинета, из-за стола не выйдя, не поднявшись, не сдвинувшись ни на пядь из своего кресла, главный редактор Кравченко воспрял и приосанился.

Ай да мастер!

Однако уже в следующее мгновение кое-что до него вдруг, так скажем, дошло, а можно сказать, и просто вспомнилось то, что коварно забылось, — *ай да ломастер!* — и Кравченко резко, кубарем сдал позиции; заньло вновь по всему нутру, завьюжило, и ужаснулся он: что ж я наделал??? вот так маху дал, так дал!!! черт меня дернул! от-бла-года-рить! видите ли... Дурак... Это он сказал себе, себе лично, но, если что, то можно свалить и на Ледоходова. Старый дурак!

И тут уж Кравченко из-за стола выскочил, тут уж он заметался.

Впервые в жизни так он метался по родному кабинету, впервые в жизни. Мир вокруг него до той поры был натянут, как струна, играл во всех октавах по всем регистрам. Его прежний мир такие ноты на свет извлекал, такие обертона из себя препроваживал, что другим и не снилось. А теперь этот мир взял да провис, одним махом. Он, конечно, провис не в ту секунду, когда до Кравченко, положившего трубку, собственно дошло, что он позвал Ледоходова в свой прежний дом, к своей прежней жене, откуда и от которой он так доблестно и грациозно отчалил и удалился в минувшую субботу, нет, мир обмяк и провис раньше, где-то ночью, незаметно,

после выходных в канун понедельника. А может, и прежде того, разом с пропажей междустрочья, будь оно неладно. И вот парадокс — натянутый, он был просторен, дарил свободу движений, размах фантазии, обвисший же, враз стал не впору, навалился, прижал-придавил, и шее сделалось неудобно. Кравченко запыхался.

Уф, решил он посреди кабинета. Фу, еще раз решил он, притормаживая. Надо взять себя в руки, что это я так раскис, разбежался! Не годится. В конце концов, это всего лишь вопрос, так сказать, этики, ведь так, а не чего-то там такого, уголовно, как говорится, наказуемого. М-да. И даже не морали, представьте себе, нет, не морали даже. Да, не морали. А одной только всего лишь этики. М-да. Обычной. Обыкновеннейшей. Всего лишь этикус вульгарис — и ничего больше... Он развел руками — не для зеркала, для дела. Покачал головой — искренне. Для себя. Не вижу другого выхода... Знать бы, где Сулеймен остановился, проживает, телефончик, так и отменили б...

И тут же сообразил: а ведь можно узнать, стоит лишь...

И тут же еще раз сообразил, дальше прежнего: а ведь не стоит, нет, ничего отменять, не дальновидно, а к Еве звать — к Еве звать пока глупо, пока что преждевременно к ней гостей водить... Безвкусица... Вот оно и выходит все как к лучшему... к лешему все... И нечего тут...

— Аллю.

— Ты вот что, — сказал Кравченко. — Ты мне вещи, будь добра, собери. Носки, трусы, майки в чемодан, рубашки. А костюм серый в полоску так, чтоб не помялся. Свитер коричневый. А остальное потом. Может, сумку эту большую заграничную, не знаю, поглядим. Остальное после.

— Хорошо.

— И вот что еще. Ледоходов будет, так накрой там в гостиной, или на кухне, нет, пожалуй, в гостиной все же... Что-нибудь поимпозантней...

— Ледоходов?!?!

— Представь себе.

— Ну, вот как раз представить себе, Юля, я и затрудняюсь.

— А что тут, собственно, такого?

— Что тут, собственно, такого?!?! Ты всерьез?

— А что? А ты?

— Юля, ты хоть знаешь, сколько лет у нас гостей в доме не было, никого, ни единого человека?

— Не драматизируй.

— Лет, наверное, пятнадцать, не меньше.

— Ты, как всегда, раздуваешь слона из мухи. На ровном месте. Из козявки невидимой.

— А ты возьми свои календари перекидные, очень даже видимые, все ж хранятся, все ж как один, у тебя ж там все отмечено, размечено, кто, с кем, с чем, почему, почем, зачем, во сколько, на сколько, и проверь, сам проверь, вот и убедишься, вот и получится, что все лет двадцать получится, возьми, проверь, возьми.

— Ладно, проверю. Но сейчас не об этом.

— Да? — сказала жена. — А о чем же сейчас?

— Причем здесь гости? Ты ж понимаешь, это деловой ужин.

— Да? Ну, раз деловой, это в корне меняет дело. Дело деловое.

— Вот видишь. Так что, окажи любезность, позакковыристей ему чего-нибудь, поэкзотичней... В магазин пройдишь.

— Ты что, Юля? В какой магазин? Там такого нет, не бывает.

— Ну да, конечно, это я так к слову...

— Но у нас, — сказала жена, — у нас с тобой, — сказала она, — есть позакковыристей. Так что не волнуйся.

— Ну, вот и славненько. Надо же, чтобы гость был доволен.

— Вот видишь, все-таки гость?

Кравченко вспылал моментально, без замаха:

— Не придирайся к словам! — заорал он. — Не смей, дура, к моим словам придирааться!!!

— А то что? — спросила жена с бархатным, подернутым иронией, придыханием, — а то что, ты меня бросишь? К другой уйдешь?

Кравченко попытался:

— Прости. Я тут на службе, знаешь. Не мед. Нервы. Не сахар.

— Ясное дело, — сказала жена. — Кто ж спорить станет. Только вот к словам не придирайся, Юличка, дорогой, ну никак нельзя. Потому что, Юличка, дорогой, если джем, представь, обзвать повидлом, он ведь в горло не полезет, верно? А вот, если говно — говном, то как раз и все в порядке, ведь так, Юлик? Уплетем за милую душу?

Кравченко проглотил и это, не пискнув. Поспешно выдохнул:

— Это точно. Как ни крути. Разве нет?

И добавил:

— Я куплю коньяк по дороге.

— Гуляем? — сказала жена, засмеявшись звонко. — Что празднуем?

Повесив трубку, Кравченко сидел тихо; знал, больше никто не позво-

нит; почему — не знал; слушал тиканье часов в неспешных, вдруг застывших сумерках. Объявились мысли о весне, но прошли насквозь, не задев. Ничего не делал. Ничего не думал. Ждал.

Никогда он никуда не опаздывал.

И теперь все его вышколенное чин-чином естество истошно сопротивлялось такой идиотской необходимости взять вдруг да опоздать, и не на пять минут, а так уж, чтоб наверняка, часа так на пол. И все же какой бы идиотской ни была эта необходимость, она была необходимостью и потому довлекла над любым, пусть и самым неукоснительным и полезным навыком. Ну, нельзя ж, в самом деле, заявиться туда раньше Ледоходова. О чем говорить? О говне с говном? Конфуз.

Оказывая отчаянное сопротивление внутреннему потрескиванию, Кравченко утерпел до четверти восьмого. Снял трубку.

— Дорогая, я тут задержался на службе. Уже выхожу. Как там наш гость?

— Гость? Какой гость?

— Как какой?! Ты что, белены объелась? — весь его аутотренинг пошел намарку. — Мы ж договорились! Ты что?!

— Договорились?

— Ну, да! — заорал Кравченко. — Договорились!!!

— Ну, да, — сказала жена. — Договорились.

— Фух. Ты что, издеваешься?

— С какой стати? Отнюдь.

— Так скажи же, черт подери!

— Что тебе сказать, Юля?

— Ответь же мне!!!

— Чего ты хочешь? Зачем звонишь?

— Как зачем?! Ледоходов, ответь, на месте?

— Ах, Сулеймен Янович?

— Да, черт его, тебя подери! Сулеймен Янович.

— Так какой же он гость? Он же по делу, правильно?

— Да, черт возьми, правильно, не гость, по делу, да.

— Да, да, — сказала жена. — Да.

— Что, да?

— Приходил.

— То есть, что значит — приходил?

— То и значит.

— Как?

— Ну, так. Как? Вы же договаривались.

— Ну, и?
— Вот он и приходил.
— И что!!!???
— И ушел.
— То есть, как ушел??!!
— Ну, так. Подождал. Не дождался. Ушел.
— Ах, ты дрянь! — заорал, завопил, забрызгал слюной Кравченко. — Пугало ты огородное! Психушка по тебе плачет... Ты ж это специально... ты ж это мне назло... Вот увидишь, я этого так не оставлю, я тебе это, увидишь, образина паршивая, ох как аукну!!!...

— Вот видишь, — сказала жена. — Видишь. А я всего лишь пошутила. Ты же любишь, когда я веселая. Так что вот. Сам видишь.

Пауза.

Рыбы на льду.

Рыба.

И где-то в далеком послевоенном полустертом из памяти дворе радостный — грюк! — вопль доминошника: "Ры!ба-а-а!!!"

И голос жены в трубке:

— Сидит твой дорогой Сулеймен Янович в гостиной и мирно распивает аперитивы в моей компании. Так что, если он тебе все еще нужен, необходим, приезжай, если сможешь, если у тебя получится.

Гудки.

В такой партер Кравченко, опять же, еще никогда не ставили.

Да в такую винторогоую согнутость с выкрутасом для последующего отжатия вообще мало кого в жизни ставят, доложу я вам, а точнее, мало кто сам себя в такое угораздывает, потому как, согласитесь, без собственной помощи со стороны пострадавшего тут никак не обойтись, и это Кравченко признал сразу, без возмущения, отрешенно. В нем настали мороз и ясность.

А ведь все равно придется ехать, признал он с холодной тоской. И предпринял роковое для себя отчаянное усилие, направленное на то, чтобы выкинуть из головы, изгнать, вытолкать взашей целиком все, что только что произошло. Все ее слова. Все — обязательно! — свои. Все! Все их давние и недавние стычки по поводу и без повода, памятные и забытые, да, да, и забытые тоже всенепременно. Все размолвки, казусы, конфузы и неудобства. Всё!

И у него вдруг получилось.

Он, может, и не надеялся, но уж больно отчаянно приналег, деваться

ведь некуда, и неподатливые двери неожиданно подались и захлопнулись со страшным грохотом у него за спиной. Все, схоронено. А раз нету, значит, и не было. А раз не было, так, значит, и нет. Нигде, никогда. Амба. Он испытал такое облегчение, что тут же, хоть и на скорую руку, а решительно, избавился, заодно, и от неприятных воспоминаний о худсовете вчера в понедельник. И удалось. И не стало никакого худсовета, никаких воспоминаний с тревогами. А вместо этого стало хорошо с холодком, как от пектусина.

Нет, это не падение, решил Кравченко. Не катастрофа. Так не падают. Не разбиваются. Это полет.

И он себе налегке выпорхнул из кабинета.

Взаимоотношения главного редактора Кравченко с шофером его персонального транспорта ГАЗ-24 черного цвета не подлежат отображению в канве данного повествования, и потому ограничимся тем, что Кравченко ему сейчас скажет. А скажет он ему вот что:

— Ты, это, Гриша, на площадь, в старый дом, ну, домой, ко мне... И коньяк по дороге, понял? С конфетами.

И все.

Поехали.

У Кравченко был ключ.

В гостиной было сверкуче и дурманно — уют для толстокожих.

А у Ледоходова был для Кравченко костюм "Адидас" пятьдесят второго размера — тютельница в тютельную. Кравченко для порядку полтора раза отказался, а потом взял.

Примерил. Втянул живот.

Да уж в "Адидасе" за столом и остался.

И живот еще долго не выпускал.

Желтый цвет был ему к лицу. Желтый с черной каймой. Он смотрелся в свои отражения в "горке" и видел себя опытным, ловким, завидно моложавым.

И вечер вдруг взял и удался.

У него, у Кравченко, получилось и бокалы с шиком наполнять, и остерить к месту и без нажима, и умствовать, не больно умствуя, — ну, в ударе был, в ударе. Ведь получилось же выкинуть из ума два куса неприятностей. И вот вам результат. И жена была на высоте — яркая, благоухающая, таинственно радушная. И Ледоходов вдруг оказался весьма непустым человечком, тоньше, чем предполагалось, с неколючими иголками, прворным знатоком застольного этикета и всевозможных московских

историй и историек, поучительных и не очень. Везло Кравченко в определенных ситуациях на таких вот наивных носителей современного фольклора. Да и вообще ему раньше *всегда* везло. Размышляя над этим, Кравченко выделил "всегда", а надо б ему упор сделать на "раньше" было, да что уж теперь советовать, разве что в шутку подсказать, мол, мыслили бы себе, Юлий Вадимович, сплошным курсивом, так и горя б, может, не знали. Нет в этом мире мелочей, нету. Все тут выделено. Так в чем же шутка? А Бог его знает. И не сердитесь вы, Бога ради, тут же просит нас неумный рассказчик, что я, мол, в шутку, не в шутку, а вот и Юлиану подсказать норовлю, посочувствовать, так уж меня мама с папой научили, говорит он нам, — людям надо помогать, и тут уж ничего не поделаешь, любой человек, даже главный редактор, вправе рассчитывать на чью-нибудь поддержку и сочувствие, а то как же? а то иначе ведь мир вообще пойдет наперекосяк, так что не сердитесь, пожалуйста, дорогие мои. Ну, что тут скажешь. Рассказчика, как говорится, не выбирают. Он сам, как говорится, приходит и рассказывает, а вы уж можете себе слушать, а можете, если можете, не слушать, а ускользнуть и двигаться дальше, не обремененные новой историей. А толку что.

— А как-то по весне, — говорил Ледоходов, — в мае, еще до войны, году в тридцать девятом ваш покорный слуга, будучи, смею вас заверить, весьма молодым и самоуверенным молодым человеком, только что демобилизовавшимся из рядов РККА, то есть рабоче-крестьянской Красной Армии...

— Да знаем мы, Сулеймен, что такое РККА, — бодро ворчал Кравченко, — что ты нам, как детям...

— ...в компании своих сверстников, тоже демобилизовавшихся, и девушек в светлых платьицах...

— Мы с Кравченко и РАБКРИН знаем, — звонко, заливчато говорила хозяйка дома, — и НОВОЯЗ с ОПОЯЗом — "Здравствуй, писать трудно", и НКВД с КВЖД, и ГОЭЛРО...

— ...и новых знакомцев-первокурсников литературного института, и первокурсниц, гуляя, знаете, весело по нашему зоопарку и, вынужден признаться, находясь в известном смысле под легким шофе, представьте, оступился, увы, поскользнулся на чем-то невидимом, весна, знаете, птички поют, да и полетел кубарем прямо на бегемота, хотите расскажу? Рассказать?

На Кравченко напало *déjà vu*, все это уже когда-то было, но он не смог вспомнить, что и когда. Кто-то уже в какой-то из прожитых эпох куда-то на кого-то где-то падал почему-то, кубарем летел... выныривал?.. среди льдин совсем один?.. нет, с кем-то, вроде... с кем-то кто-то... кто же? Ну,

не я же! Тогда кто? Ладно, сказал он сам себе, отстань, не до тебя, не сейчас. как-нибудь после... Ну, что ж, он заставил себя хотя бы вспомнить русский термин для *déjà vu*, и вспомнил: *парамнезия*. И усмехнулся, ничего себе русский!

За столом сперва, конечно, старались, а потом уже и не надо было стараться — момент подхватил и укатывал их на приливной волне, сладко баюкал; и постепенно все, что принес с собой Кравченко, и что Ледоходов с собой принес, и что нашлось в доме — все в ход пошло. И наконец исчерпалось до капли.

Сутки-другие спустя Ледоходов у себя в Москве с мороза за ужином так скажет своим домашним: "Представьте. За столом трое. Он. Она. И Гость. Между Ним и Ею — струна, ля-минор, вот-вот лопнет, а если не струна, то льдина с трещиной, вот-вот расколется, растащит их, а может, и перемерлет, сотрет в порошок. Между Ним и Гостем — зыбучие пески давних манипуляций, взаимных финтов, обманов, хитростей, строго выверенных, баш на баш, обменов услугами, — топь, гать, трясына, болото. Через эту жуткую жуть переброшен тонюсенький мостик, досточка, жердочка — необходимость совместно отужинать. Он зазвал Гостя, замыслил этот ужин, заманил всех и вся, потому что в голове у него родился некий план интриги. Коварнейшей из всех интриг подлунных! И вот трое за столом весь вечер катают от борта к себе в середину, иногда шары сталкиваются, щелк! искры, дымок. И это даже весело, даже азартно. И непонятно, кто против кого. То есть, вот так вот. А потом вдруг застолье становится просто застольем, ничем иным, даже не перемирьем до рассвета, нет, просто ужин, а как завтра будет, никто не знает, но и не гадает, нет, покер, конечно, но без карт, без масти, без ходов, как бы ни о чем, вскользь, легко, представляешь, нет? А потом вдруг бац! — один случайный прокол, и все вываливается наружу с грохотом и срамом, как кишки из пуза. Вот такая пьеска. Ну, как?". А домашние его ему скажут: "А кишки разве с грохотом?". И еще они ему скажут: "А между Ею и Гостем — что?". И Ледоходов вздохнет: "Ничего пока. Пусто. Но нужно, чтоб было не пусто. Что-то туда нужно думать. Придумаем". А близкие ему скажут: "Сделай наконец для театра, Соломон. Они же возьмут. Хватит этого кино, бестолковщина все, пустопорожина, хватит". И Ледоходов, прищурившись, запишет в блокнот слово "пустопорожина" и, как всегда, улыбочиво покивает, соглашаясь со всем, что ему говорят его домашние, и размечтается, и внятно, и себе под нос. "А кишки, конечно, — скажет потом, — нет, не грюк, а блямс они, ты права, чвак они и хлоп". Кинодраматурги, знаете, как и хирурги, известные циники.

На пороге, на посошок, Кравченко с Ледоходовым расцеловались, обнявшись.
— А теперь, Сулеймен, о деле, — говорил Кравченко, размахивая взмокшим чубом. — Ты сценарий свой больше не мучь, не терзай, ни к чему, ты давай сценарий свой приноси, давай оставляй, а я уж, что от меня, все приложу, оформлю, устрою.

— А чего его мучить, Юлий Вадимович? — рокотал Ледоходов, позабыв про носовые платки с одышками, но устойчиво не переходя на "ты". — Не надо мучить. Все готово.

— Ну, ты даешь! — восхитился Кравченко. — Это ж на каких скоростях мы писать умеем! А?

— Труда не боимся, — рокотал Ледоходов. — От труда не бегаем.

— Ну, даешь!

— Звезд с неба не хватаем, но к труду приучены сызмальства, с голодного детства. Труд суть жизнь наша. Судьба наша. Простите старику помпезность. Наш удел.

— Это ты-то звезд не хватаешь?! А кто ж тогда?

— Нет, не хватаю, — говорил Ледоходов. — Таков удел.

— А трудиться да, мы да, умеем, — говорил Кравченко. — Мы уйдем, и кто? И кто, когда мы уйдем?!

— Все переделал, — говорил Ледоходов. — Все учел. Замечания, пожелания, подсказки ваши, Юлий Вадимович. Готов, как говорится, к труду и обороне.

— Вот и славненько, вот и приноси.

— Да он у меня тут, с собой.

— Вот и оставляй, раз с собой. Зачем зря туда-сюда, боты стаптывать.

— А то, может, все ж лучше поутру в кабинет, на голубой каемочке, чтоб официально?

— Ты что ж, Сулеймен, совсем обалдел? Просто так вот в глаза мне берешь и не доверяешь?! Отличник ГТО.

— Вот, Сулеймен Янович, — докрикнула из гостиной супруга, — мы еще и ГТО знаем, чуть не забыли, прости господи, и ВЦСПС, если хотите, с КПССом...

— Да ну, Бог с вами! — отвечал Ледоходов им обоим, тщательно не слыша веселый голос из гостиной и не менее тщательно отыскивая взгляд своего визави. — Обременять, знаете, не с руки. Только и всего. А кому ж мне доверять, как не вам, Юлий Вадимыч? Ведь больше, простите старика, доверять некому.

— Давай обременяй, — хорохорился Кравченко, слегка морщась на го-

лос из гостиной. Он то ли взмок лицом заново в непроницаемом новом костюме, то ли даже попросту прослезился. — Доверяй давай, обременяй давай — все выдержим, мы старая гвардия. А ты, значит, эта, стрелок ворошиловский, еще до войны, выходит, служил, да? Ну, даешь.

— Так точно.

— И где?

— В Карелии. В авиаполку. И в сорок первом туда же, в свою часть опять направили. Представляете? Редкое везение!

— Так ты что ж, выходит, Сулеймен Янович, эта, летчик боевой?! Ну, даешь!

— Никак нет. Наземное обслуживание.

— Ну, герой, даешь, старая гвардия, вот видишь? Ну, даешь! Мы и плечо другу подставим и сами не спотыкнемся. Ведь верно? Мы ж такие?.. У, какой увесистый! Весомо пишем, да? Эт-я понимаю. Ты что, Сулеймен, сюда "Войну и мир" запихнул для солидности? Хах-ха... А названница я что-то такого у тебя и не припомню!

— Шутить изволите?

— Да нет, ты что ж, и в самом деле переименовал?

— Как можно, Юлий Вадимович. Не первый год замужем. Нет, конечно.

— Ну, ладно. Там разберемся, — Кравченко, шурша "Адидасом", сунул папку под мышку. — Можешь, Сулеймен, ехать домой со спокойной совестью, в столицу, к жене, детям, говорю тебе, ложись, езжай, предоставь, увидишь... Не сомневаешься, надеюсь?..

— Нет, конечно.

— И, эта, смотри давай осторожно ходи, не надо, эта, того, на гиппопотамов.

Ледоходов очень умело расхотался и ушел, рокоча себе под нос какой-то свинговый мотивчик. Внутри же являл он собою человека весьма обескураженного, и предчувствия его были не ахти. Запутал-таки, сукин сын, на старости лет меня, старого человека, взял да запутал, мерзавец, сбил-таки с толку, ну, наперсточник, вот прохиндей! чего же он хочет? так разве ж разберешь, разве вот так с места уразумеешь?.. *что* это все сейчас было? для чего? может, и вправду влюбился? а что? и умом на радостях тронулся? вот это был бы номер!..

Из кухни по-новогоднему весело, переливчато позвякивала посуда. Хрусталь в "горке" перемигивался с люстрой. Кравченко с папкой под мышкой утер в ванной комнате полотенцем взмокшую голову и отправился в спальню. Сидя на кровати, он еще раз сфокусировал взгляд и перечитал название ледоходовского сценария. И эта, вторая, попытка не принесла утешения. Невзирая на собственные повсюду на папке свои же помет-

ки Кравченко вынужден был признать, что, как ни крути, а, судя по всему тому, что имелось у него в голове, а не на папке, видит он это название, будь оно неладно, впервые. Да. Была парамнезия, уныло сообщил он себе, а стала амнезия. Он швырнул сценарий на тумбочку у изголовья; пошатнулась, мигнула лампа, папка соскользнула на ковер, тесемки перепутались с узором, и не только тесемки, а все зловеще перепуталось, восстало, и узор ожил, надвинулся, а тесемки распушились, раздвоились и зашипели, злобные, гнусные, коварные... А ну вас всех к лешему! И, никуда не глядя, Кравченко принялся рывками стаскивать с себя взопревший желтый подарок и понемногу, натужно заваливаться на бок.

Жена, выйдя из кухни в новом переднике в цветочках, в ромашках, в маргаритках, голубых, белых, розовых, стояла в дверях спальни и долго и молча смотрела. Когда же, наконец, Кравченко со скрипом завалился и с протяжным зевком натянул на себя одеяло, и, с хрустом дотянувшись, щелкнул ночником и воцарилась тьма, жена, вздохнув не спеша, подала голос:

— Юля, — спросила она, — ты вернулся? Да?

— Что? А? А-а! Фух! — он подхватился, как молодой, вскочил, защелкал выключателями — один свет, второй, третий. — Фух, прости, задумался, — впопыхах кинулся одеваться. — Совсем задумался. Много работы, понимаешь, работы много. Фу, черт! А вещи, ты вещи собрала, да?

— Бедный Юлик, — вздохнула жена и вернулась на кухню. Оттуда крикнула: — Кравченко, не суетись. Муж явится не скоро.

— Куда ж ты запропастился? — встретили его у себя в прихожей сонная Ева с сонным Киссинджером. — Мы себе места не находим.

Кравченко перепробовал подряд несколько ответов: старый, как для старой жены, новый, как для новой, средне-привычный, почти забытый, как для себя — к правде даже не подобрался, закашлялся, попросил пить.

— Срочно спать, — подытожила Ева.

Засыпая, он выслушал наставления о том, что в старый дом ему самому ходить больше не следует, пускай Гриша-шофер за вещами ездит.

— Ты забыл, Юлик? — зевнула Ева в унисон с Киссинджером. — Я ревнивая. Он забыл.

Он стал часто что-нибудь забывать.

Неделя день за днем давалась ему натужно, со скрипом, с каким-то инородным надрывом, пока еще не ясным ни ему самому, ни окружающим. И проявлялось все это в, черт ее подери, никому не доказуемой,

без цвета, без запаха, и тем не менее все возрастающей тяжеловесности его собственных мыслей и действий. Кравченко охарактеризовал это неожиданным образом: "Брюки отяжелели". Да, именно этой фразой снабдил он себя как-то по утрам во вторник или в среду, шагая по аллее из съемочного павильона в направлении любимого кабинета. Да, представьте, те самые, несколько просиженные, слегка мешковатые, но по-своему элегантные, молодящие его брюки, под один и тот же знаменитый пиджак с полдюжины разноцветных пар, в тон ему, конечно же, серых и, конечно, темно-серых, и туда же зеленых, бутылочных, и темно-синих, а-ля офицерская диагональ, и светло-серых в многоярусную клетку, и коричневых, тоже диагональных, и темно-коричневых, — все эти брюки, представилось ему, разом отяжелели, напитав из атмосферы шершавую дотошность с колючей злокозненностью, и ходить в них сделалось неграциозно и обременительно. К воскресенью он добрался весьма измочаленным и сбитым с толку — и тем, что творилось снаружи, и тем, что происходило у него внутри.

А воскресенью предшествовала суббота, свадьба, будь она неладна, которая в логике всей безумной недели могла бы сойти за ничем не примечательную, то есть, банально-конфузную. Могла бы, да не сошла. А субботу предваряла еще и пятница, вторая ее половина, когда обворожительная и благоухающая у него в кабинете Ева вдруг фыркнула:

— Как это без меня! — фыркнула Ева. — Зачем тогда все это нужно? Чтобы прятаться от всех вот так, да? Только и делать! И что, и что?

— Никто не прячется, Ева, мы же гуляем по парку. Но для официальных демаршей время еще не пришло.

— А когда? И почему демарш — выйти со мной на люди? Почему?

— Не просто на люди. Просто на люди — мы по парку имени Ленина гуляем, — повторил Кравченко. — А эта свадьба — она не простая, а, изволь видеть, свадьба эта — заключение особого альянса, некая перестановка сил в сфере под названием отечественное кинопроизводство, то есть, Евочка, в нашей с тобой сфере деятельности, в сфере наших с тобой, Евочка, непосредственных интересов, и мы с тобой, девочка, как люди серьезные, как, замечу, упорные профессионалы, ведь так? просто не можем себе позволить подойти к такому событию несерьезно, непрофессионально. Без должного упорства. Без особого душевного ангажемента.

И Ева охотно сменила недовольство на простодушное восхищение:

— Как ты умеешь говорить, котик! Уму непостижимо!

Кравченко только отмахнулся и продолжил развертывать глубинные древние стратегии перед своей молодой будущей женой. Да, жить теперь

с каждым днем ему было все непонятней, но зато столько новизны, сколько нынче в переживаниях выпадало на его долю, он даже приблизительно не испытал за всю предыдущую жизнь. Ни с кем прежде никогда он не был даже приблизительно так откровенен, как сейчас с Евой. Даже с самим собой. Тем более, с самим собой. А теперь вот был. И новизна всего того, что он так ловко сейчас впервые в жизни излагал, пробовал на звук, на вкус, на риск, на дозволенность, во-первых, вынуждала его самого увлеченно прислушиваться и внимать словам своим, а во-вторых, будоражила и возбуждала его сразу по всем направлениям, сразу во всех ракурсах и смыслах.

— На торжественном приеме по случаю подобных альянсов, называемом обывателями просто свадьбой, на таком приеме все значимо, знаково, все симптоматично, всё! сплошные хieroглицы*, абсолютно ничего не случайно. Тут все, извольте, имеет свою многоликую и, я бы сказал, многогранную коннотацию.

— Боже, какие ты, котик, слова знаешь!

— Говори, солдат, говори! — усмехнулся Кравченко, цитируя знаменитое кино. — Да?

— Да, да, — сказала Ева, — голова кругом, честное слово.

— На таком честном собрании, Евочка, — продолжил Кравченко излагать себя по поводу завтрашней свадьбы дочурки Любавского с Петенькой Трофимовым, — на таком, знаете, ристалище, тут любой взгляд, любой полупоклон, а уж тем более с кем ты под руку — все это тут усерднейшие артефакты, а не просто так, знаешь, погулять вышел. Самые, понимаешь, что ни на есть экспонаты с уликами, выпуклые и вмятые, для проникших, так сказать, для впущенных, для, так сказать, пользующихся доступом!

— Ох, честно, да, как на карусели, сладко так.

— Не просто блеск нарядов, стук приборов, звон бокалов, — не унился Кравченко. — Нет, родная. И не думай. И не помышляй. Все тут обладает напрадую семиотической подоплекой. Все тут, так сказать, и вся — тотальная экспертиза презумпции недоказуемости. Вот как. Да. Сплошная, как говорится, атрибутика конъюнктуры.

— Котик, я тебя обожаю. Иди ко мне.

— И потому в эту субботу я призван, девочка моя, действовать в парадигме прежних наших устойчивых, так сказать, матричных концептов.

— Милый, ты бесподобен.

* Sic! (Прим. рассказчика.)

— Но это, Евочка, конечно же, паллиатив. Всенепременно и обязательно всего лишь паллиатив паллиативный.

— О, боже, правда? а что это?

— И мы по нему после, конечно же, ударим. Расшатаем и врежем, как полагается. Бабахнем, как надо, по ним по всем. По отжившим конгломератам и конгломерациям.

— Да, да, как скажешь. А паллиатив — что?

— А пока надо потерпеть.

— Потерпеть? Значит, потерпим, раз надо пока что. Потерпим. Только потом. Только не сейчас, правда, милый? А сейчас пока что, милый, дверь запри, а потерпим потом, дверь сейчас, а потом пока потерпим, сколько надо. Правда? Что?

— Доверься мне, Евочка. Я знаю толк и в паузах, и в натиске. Знаю, знаю, когда надо встать и врезать.

— Звучит заманчиво. Ну же.

— Положись на меня. Это с гарантией.

— А ты давай на меня, давай, а паллиатив — что это?

— Мы их, Ева, ох как одолеем.

— Да, да, котик, ох, одолеем... Ну же, мы же их уже же одолеем всех всегда, правда, котик? да? да? да? расшатаем и как врежем, и, как только расшатаем, так и врежем, да? да! да! ох, и врежем, навсегда, заведи меня с собою, заведи себе, да, да, всю, одну, сейчас, до дна... честное комсомольское... а паллиатив?..

Впервые в жизни Кравченко занимался любовью с любимой женщиной в любимом кабинете на своем любимом столе. Случись с ним нечто подобное лет на двадцать раньше, может быть все сложилось бы по-другому, — и у него лично, и в отечественном кинематографе, и, быть может, а что! в судьбе всей необъятной империи, ведь если бы, тут же нам подсказывает вездесущий, всегда себе на уме, рассказчик, если б все люди наконец, подсказывает он, взялись бы каждый на своем месте да наладили со всей ответственностью свою так называемую сексуальную жизнь, с тем, чтоб она перестала быть, представьте, так называемой, так разве были б тогда на Земле войны? разве тогда бы не перевелись враз старпёры во всяких политбюро и центральных комитетах и юные и не очень юные онанисты в райкомах? обкомах? профсоюзных организациях и первичных цеховых ячейках? ох, рассказчик! все б вышло иначе, да? тогда бы, — но не теперь, ибо теперь по его же, кравченковским, собственноречивым, назавтра сказанным плаксиво-неразборчивым гундосо-хмельным словесам, обра-

ценным к расплывчато-очкастому масленичноглазому развязно-галстучному полусоседу за свадебно-полуночным разоренным столом с окурками в блюдцах среди сеledочных скелетов грандиозное это в его жизни событие предстало из настойчивого его нелегкого бормотания "всего лишь окказиональной имплементацией одной полуистлевшей, выдохшейся полугрезы", то есть, по его же словам, там же и тогда же: "не пришей кобыле хвост, или еще чего кому не пришей, или, — после паузы, — пришей, если хочешь, гы-гы"; да, вот чем все это оказалось сутки спустя, в субботу к полуночи, но все же, что бы он после ни наговорил, а тогда в кабинете в пятницу, в те минуты, он все исполнил по максимуму, как опасный цирковой трюк, — нарочито небрежно, однако крайне внимательно, насколько хватило внимания, — и ключ в двери провернул с чувством, с толком, и на стол к Еве вскарабкался не бездумно, а со всей ответственностью, верша акт преднамеренной крамолы в виду неприкосновенного портрета, в непосредственной близости и даже в контакте с бюстом Эйзенштейна и всевозможными неукоснительными бумагами в скрепках и бумагами в кипах, бумагами в папках и бумагами в стопках у себя на столе, в таком вот бумажно-бюстово-портретном антураже он браво отсвятотатствовал, он себе предумышленно позволил, *он позволил себе* — вот что он проделал наконец в кои-то веки, и известно в кои! впервые в жизни, и это не было, говорил он себе там и тогда, а не потом на чужой свадьбе, не было бунтом с его стороны, нет, чурался он всяких там экспроприаций экспроприаторов, а это было с его стороны всего лишь изъятием ему причитавшегося, обналичиванием, так сказать, именной облигации, ну, в крайнем случае, это могло б сойти в его исполнении за дружескую оплеуху собственным устоям для оживления тонуса последних; и сошло; и оттого ли, иль от чего иного, а только факт, что там и тогда испытал он такой прилив сил душевных и сил физических вперемешку с восторгом от жизни такой вот правильной, что чуть от них и не лопнул, но не лопнул, а изверг их из себя в конце концов общепринятым способом.

Перевел дух. Опустошенный, деловой, счастливый, бегущий от смерти.

Уффф.

Уф.

— Ты знаешь слова, котик, — проворковали ему. — Ты, котик, шаман. Ты кудесник.

Потянулся к телефону.

— Зачем? — вяло поинтересовалась Ева.

— Ничего особенного.

— Что ты делаешь?

— Только то, что необходимо.

Он снял трубку, вставил палец в отверстие на диске с цифрой два, заколебался, вставил палец в цифру шесть, но опять же вращать не стал, а погрузился в раздумья.

— В чем дело, Юлик? — спросила Ева.

Он не ответил. Сосредоточенно слез со стола и, склонившись над телефоном, ощущал поочередно все остальные отверстия на диске. Распрямился и повесил трубку.

— Ева, — произнес он торжественно, как глашатай королевский, — какой у меня на прежней квартире номер телефона?

Ева захохотала звонко, в потолок.

— Юлик, ты бесподобен! Это хороший признак, да?

Он не отреагировал. Он стоял торжественным истуканом и ждал, когда ему скажут номер. Ему сказали.

Тогда он ожил.

Проворно снял трубку, накрутил диск с бодрым звуком и, пережидая гудки, глянул Еве в глаза и произнес громко, выставляя напоказ нововылупившуюся раскованность:

— Совершаю неизбежный, знаешь, акт морального, знаешь, вандализма. Жизнь, девочка, сложна и полна нюансов. Никуда не денешься. Осознанная необходимость.

— А паллиатив это что? — спросила Ева. — Какое слово! Что оно значит?

— Добрый вечер, — начал он в трубку, как не начинал уже с незапамятных времен.

— Вечер добрый.

— Завтра, видишь, суббота. Мы приглашены к Любавским, они дочь выдают. Я заеду пораньше, ну, скажем, в пять. Поколесим по центру, подарок подыщем, окажи любезность... Так и охарактеризуем это — ты меня выручаешь, деловая по-дружески услуга, как? подходит?

— Деловая по-дружески?

— Ты меня очень одолжишь.

— Правда? — сказала жена. — Ловить на слове? А скажи, как ты думаешь, там, должно быть, будет весело?

— Весело? — переспросил он в недоумении. — В каком смысле? А, ну да, наверное. А чего нет?

— Вот видишь, — сказала жена. — А это весело, когда весело. Шампанское.

— Поверь, — поспешил он перебить. — Я действительно, я высоко ценю твою отзывчивость. Весьма и весьма обязан.

— Не стоит, Юля. Прибереги силы. А то не добежишь.

Повесив трубку и глядя на прихорашивающуюся у зеркала Еву, он стал размышлять, зачем такое сказано — прибереги силы. Будто знает, что у него тут, в кабинете; будто знает еще что-то, чего ни он, ни кто другой, пока не знают. Да ну ее, дуру психованную. Нашел, кого слушать. Шаманка доморощенная. Однако под лопаткой все же кольнуло подозренице, а не опустошился ли он тут сейчас, у себя на столе, как-нибудь эдак неэкономно, невосполнимо, черт забирай! Чего вдруг? С какой стати! И тут ни с того ни с сего ему сделалось скучно как-то, не увлекательно. На ум сползла дурацкая полудогадка — а что, если? А что, если почудилось ему, ему больше нечего делать, а? Не просто нечего делать на этот час или вечером в пятницу, или даже в субботу, или до конца недели, месяца, квартала, года, пятилетки, общественного уклада, а вообще нечего, навсегда. Хана полная. Делать нечего. А вдруг и впрямь только что у себя на столе он сдуру воплотил разом все свои чаяния, одним махом, в едином, так сказать, могучем порыве испытал и пережил все, что когда-либо мечтал пережить и испытать; и уровень амбиций, достигнутый, вспыхнул и растворился, заверченный, а шкала притязаний, исчерпавшись, оборвалась, а? Да что за чушь?! возмутился Кравченко, я редактировать люблю, причем тут. А что, если? продолжало упорствовать это самое "что, если?", что, если редактирование, столь любезное, Юлий Владимович, вашему сердцу, было всего лишь сублимацией тайного вожделения, которое вот, наконец, взяло да и целиком воплотилось таким вот импульсивным образом под конец рабочей недели на монументальном столе в четвереньковом наклонении, а? что тогда? Да быть того не может! возмутился Кравченко. Ревность, да и только. Чья же? Ну, не моя же. Но делать было нечего, как ни крути, нечего было делать. То есть, вообще нечего. Повсеместно. И абсолютно. И это становилось несмешным. И это стало невыносимо. По углам кабинета шевельнулась серая жуть, глянула в середину, в седину, под ребро, в селезенку. Завыть впору. И завыл бы. Но тут на глаза ему среди сдвинутых папок, стопок и подшивков попался на чью-то беду сценарий Ледоходова. Испещренный, замусоленный, с истерзанными тесемками он пребывал там, где он пребывал. Кравченко же опять не признал в нем его заглавия, да и собственные повсюду пометки мало что ему поведали, зато фамилия вспомнилась почти сразу. И от нечего делать, от этого самого вселенского нечего, вдруг мелькнула такая же нелепая, под стать всему

вечеру, залихватская мыслишка. Взбодрила оригинальностью. Воскресила некое разумение себя в себе и в мире вокруг. А не зарубить ли его на хер к едрене фене, просто так, чтоб знал, а то много чести — и коньяки, знаешь, пивать, и гонорары заграбастывать... Так хотел же отблагодарить. А за что? А вот именно, а за что?.. Так наверное ж и отблагодарил уже, раз у себя принимал, в гостиной, разносолами потчевал, чего ему еще, астматик изворотливый, гонорарщик в ботах стеганых?.. Подарки он, видите, дарить затеялся! Ах ты ж! Прощелыга краснопресненский. А кукиш тебе со льдом на подносе! Как? Не любишь? То-то. А нас так дешево, чтоб ты знал, не купишь, ловчила спортторговский... Баста! Зарубить Ледоходова — ход неотразимый, к херам собачьим, в капусту, в крошево, в книжку Гиннеса... Никто не ждет. Ни тут, ни там. Все хвоста прижмут. И там, и тут. Узреют, Кравченко неодолим, за ним силища...

— Юлик, — сказала Ева, глядя на него в зеркало под очень тупым углом. — А ты меня в звезды по экрану, котик, выведешь так же неукоснительно, да? ну, так же, м-м-м... неотвратимо, как и все, что ты делаешь? Непредсказуемо, да? Правда?

Почему-то Кравченко не стал отвечать ей в своей обычной манере, а задумчиво протащил свою холеную пятерню сквозь седую шевелюру и сказал по-человечески:

— Ева, я постараюсь.

В субботу на свадьбе Кравченко впервые в жизни упился в стельку. Это, согласитесь, может случиться именно с каждым. А не почти с каждым. И потому не посмеемся, а посочувствуем.

Очнулся он к ужасу своему сперва не знал, где, сперва даже не знал, кто, кто очнулся, видел паука огромного, неживого, наверное чучело, экспонат, размером с океанскую черепаху или даже больше, а, может, и не паук, а скелет пещерного зайца или даже бухгалтера с "Титаника" в нарукавниках вместе с сейфом и канделябрами, а, может, и не скелет, а на самом деле бронтозавр, и не чучело, а живое, рексобобик тираниус, кусакус рексус, набросится, будет грызть, тиранить, вгрызаться, загрызать, но тут это назойливое наконец, вильнув, не загрызет! улеглось в три измерения, вместились в размеры и понятие старой членистоногой люстры под ночным потолком в задом по нему наперед заваливающихся переменчивых трапециях бледного света от скользящего сквозь портьеру луча от фары машины мимо дома под окном спальни на втором этаже под дождем по лужам на старой площади, и когда люстра стала люстрой, тогда он и себя

смог наконец идентифицировать, идентифицировал и тут же обнаружил к еще большему ужасу себя в своем прежнем доме, в прежней постылой кровати, и зажмурился, и задышалось ему не без отчаяния, не без смертной тоски, и, не смея теперь открыть глаза, попытался сообразить, есть ли с ним кто рядом в постели, в комнате, в квартире, в умолкшем под окном автомобиле, в целом городе, в Галактике, на данном отрезке Млечного Пути, но не сообразил и перепугался, как дитя малое, и разом взмок по-холодному, и стал дальше себе потеть по-дурацки, а в голове крутилось "потурецки", безостановочно: "ты потеешь по-турецки, цапки-пецки, клёцки-шмецки". Охватила паника, затрясла по закоулкам.. А примерещилось, так уж примерещилось, и, среди всякого, что он вдруг ни с того ни с сего в аду, в ад угодил — то ли с визитом дружбы, то ли по собственной неосмотрительности... окатило его там назойливо жарким, алым на всю преисподнюю подозрением, что во всем любовь виновата, Ева его ненаглядная, что, чем он к ней, выходит, ближе, тем ему ж самому и хуже, и дело, товарищи дорогие, дело при этом страдает, могучее, архиважное в свете всех последних решений и циркуляров дело наше, товарищи, терпит, видите, урон, несет, знаете, ущерб, и все из-за какой-то одной похотливой сучки-лицедейки, препаративенькой, знаете, актрисульки, которая только и умеет что задирать попку, когда надо, когда ей, товарищи, надо, нет, она, товарищи, на самом деле в этом деле вообще все на свете умеет-может, она там такое, товарищи, на самом деле вытворяет запросто, что мы с вами, товарищи, тут сейчас краснеть станем, если разберемся, так что давайте не будем, давайте к делу, а к делу — она только и может на экране, сестрица нимфеточная Лолиты пресловутой, что губки поджимать не к месту крупным планом, да похотливые глазенки нагло таращить, безобразие, вот и выходит, товарищ Кравченко, что и как вам только, гражданин, не стыдно! выходит гражданину от Силищи — с пролетарским приветом по сусалам, а от нас лично — по рогам ему со штемпелем сургучовым за любовь его, выдумал себе! дурацкую; и вот, значит, не можно служить и нашим и вашим, а можно одним только нашим, а кто тут наши, мы вам, гражданин нехороший, живо тут сейчас по-хорошему растолкуем... Оххх!.. Кравченко отнекивался, мол, сыскали тоже крайнюю! вам, значит, мол, можно, по саунам всяким и курортам, а мне, значит, за собственный счет да на частной квартире, мол, и нельзя, так что ли, мол, выходит?... Тут его окрикнули из самого ЦУОПа, центра управления отоплением преисподней, и Кравченко вытянулся в струнку, тронешь — зазвенит, и зазвенел, подвергаемый основательнейшему разному. Дзинининининининнь-

нинининининнь-нининининнь-нининнь-нининининининнь-нинининининнь-
нинининининининининининнь! звенел Кравченко,
дзинининининининининининнь! Взбучку претерпевая, многозвонный и зубами чечетствующий, он все же, надо отдать ему должное, Еву, подругу свою молодую, жилами надулся, а из-под кошмара, к чести своей, вывел, даже вынес добросовестно за тройной ряд разнообразных скобок и оговорок, защитил, как мог. А сам вернулся дослуживать. И дослуживал, вопреку и ужасаясь. А соратнички хреновы, значит, стало быть, предали, а сами, небось, в саду прохлаждаются. И подглядел судивших его разгуливающими. И подкрался, смердящий, к воротам с надписью **САД**, и отбил им втихаря для порядку букву **С** во исполнение своего редакторского шедевра и справедливости ради... Пере мешались грешочки с рангами... будут знать, как на зеркала пенять... Но тут и сам угодил в ловушку... сквозь общий бедлам выскочили на него, отыскав безошибочно, набросились все чужие слова и фразы, и главы с абзацами, и целые истории с судьбами, которые он когда-то запретил, зачеркнул, вымарал... надели, завьюжили, раскрылись разом драмой, трагедией, болью, обидами, мукой... втянули в судьбы коловорот... потащили прочь с ума...

Он закричал.

Он очнулся.

Звонил телефон. Долго, гадко, мучительно.

Потом звонили в дверь. Еще гаже и назойливее.

— Да что они там, мать их, сговорились?!

Рывком восстал из постели, отшвырнув одеяло, и кинулся к двери, но в прихожей угодил в силовик и с грохотом растянулся, выругался, а в дверь все звонили, и он кое-как подобрался к замку и отворил наконец. На пороге стояла свежая на зависть с дождя Ева с поскуливающим Киссинджером.

— Фух, Юлик... Ты зачем нас так пугаешь? Это же невыносимо. Сидеть, Джерри, — она указала на половик. — Мы сейчас.

Она шагнула через порог, глаз ее задорно сверкнул, и она звонко расхохоталась.

— Комильфо, Юлик, — сказала она, указуя на наряд Кравченко. — Комильфо!

Кравченко сместил очи мутные долу и узрел, что силком на ногах его явились собственные упавшие брюки, что вчерашняя белая рубашка наполовину заправлена в трусы и туда же, под рубашку, заткнут конец распущенного галстука, и еще один носок на нем есть, а другого где-то нет и неизвестно. Он вздохнул. Он покачал головой. Он развел руками.

— Тошно? — спросила Ева.

— Угу... А где она? — он обвел нетвердым взглядом квартиру.

Ева пожала плечами.

— Мы созвонились. Думаю, она вышла. Из тактичности. Будучи женщиной хороших манер.

Кравченко почувал в ее словах упрек, но ему было не до того.

— Не стой, Юлик, бога ради, — сказала Ева. — Одевайся, ради бога. Ты же хочешь домой или как?

— Домой, — кивнул Кравченко. — Домой.

Когда они наконец к радости Киссинджера уже выходили, Ева сказала:

— А ключ оставь. Он тебе больше не нужен. Я же просила тебя, но ты забыл. Давай сюда. Вот так, на видном месте. Ну, что, готов? И не забывай больше. Двинули.

Плоско ему, не увлекательно делалось все воскресеньем. Наседала на него то и дело из пространства Евклидова геометрия, перетягивала вдоль и поперек, а в голове колотились друг об дружку деревянные полые мысли. Можете не сомневаться, что в таком состоянии он пребывал впервые в жизни. Стесняясь энергичной Евы, он и к дивану толком не прикладывался, и бодрствовать не бодрствовал, а слонялся по квартире с какой-то тощей газетенкой и наскоками редактировал в ней простым карандашом один и тот же абзац или колонку, и тогда на его одутловато-виноватом лице растопыривалась гримаса омерзения.

Ева сжалилась под вечер. Когда после кошачьего в сумерках прикосновения ее ухоженных ноготков к бесшумному в стене чехословацкому выключателю веселый свет брызнул в гостиную из хрустальной люстры из-под самого — ибо хрущевского — потолка, Кравченко с карандашом над газеткой вздрогнул на мягком стуле за овальным посреди комнаты под плюшевой скатертью столом и, зажмурившись, стон издал.

— Режет? Прости, Юлик.

Так же по-кошачьи Ева отменила хрустальную яркость, вернув гостиную прилегающий бархат сумерек.

— Скажи, котик, а ты, часом, не алкоголик?

— Ева!

— Ну, какой-нибудь, знаешь, в прошлом, по молодости, или закодированный, не знаю, подшитый, а срок вышел, а?

— Ева, — Кравченко торжественно прокашлялся и с хрустом выпрямился на стуле. — Ева, я самый здоровый в мире человек, какого я только знаю. Знал и видел.

— Вот и я думаю, — охотно согласилась Ева.

— Это полоса такая, — пожаловался в сумерках Кравченко. — А алкоголиком, ни прошлым, ни нынешним я никогда не был и не буду.

— Не зарекайся, котик. Не надо.

— Да ну, — сказал Кравченко и закашлялся.

— Вот видишь.

Ева прошелестела западногерманским пеньюаром и вернулась вскоре с толстенькими на керамических канделябрах свечами с ароматом. Водрузила их по концам стола. Зажигать не стала. Почти невидимая, проблескивающая сквозь вечер улыбки фарфором и мерцанием камешков в серьгах, объявила решительно и добросердечно:

— Все, котик. Перемучался? И хватит! Ужин праздничный, оздоровительный.

— Да ты сдурела!!! Прости. С ума сошла? Меня ж воротит.

— А ты, котик, сиди тихо и не мяукай. Доверься мне.

— А что будет? И что?

— Ха! От недуга избавлю. Жизни радость верну. И хватит глупых почему.

Кравченко все же не удержался:

— А что за праздник?

— Воскресенье. Выходной!

Он притих. Она шелестела пеньюаром и постукивала вполголоса японскими шлепанцами, звенела посудой да чмокала дверцей холодильника. Потом щелкнула зажигалкой, затеплила одну свечу, другую. Сумерки отпрянули к стенам и потолку, раскрыли зыбкие объятия, нависли за спинами над столом. Перед Кравченко в тарелке с тирольскими мотивами блеснул порезанный на кружки соленый в меру влажный огурец с таким же помидором и кусок хлеба с маслом, а рядом стоял стограммовый налитый гранчак.

— Пока все, — сказала Ева. — Надо, чтоб у тебя получилось. А то ж ничего не получится. И я с тобой, котик, за компанию, — перед ней на тоже тирольской тарелке лежал тоже огурчик, крошечный, завитком, и подсушенный ломтик хлеба. — Ты готов, котик? Будь здоров.

Она чокнулась с ним хрустальным наперстком, аккуратно опрокинула его содержимое в яркий ротик. Кравченко не стал спорить, не стал рассуждать, а зажмурился и проглотил ледяную до густоты водку. Съел, кружок за кружком, укус за укусом, огурец с бутербродом. Жевал, опустил голову. Редактировать силы иссякли; был уверен, станет худо. Но не стало худо, а стало ему здорово. Наскоком, безоговорочно. И обнял его тогда густеющий вечер многослойными и бархатом и парчой, и воспрял человек

среди вкусов и ароматов, распахнувшихся в тот час его пробужденному ощущению жизни.

— Ты смотри, — залепетал он, — ты смотри! Вот уж не знал, не гадал. Первый раз в жизни, представь, похмеляюсь ведь, первый раз. Вот уж не ведал, честно, и думать не думал. И никогда, ни разу. Ты смотри, первый раз!

Ха, ха, ха, мог бы прокомментировать тут наш с вами, досточтимый читатель, досточтимый рассказчик. Но он этого не делает. Могли бы и мы самостоятельно посудачить, мол-де, с нашим-де героем опять приключилась небывалая прежде коллизия, угодил бедолага в такую полосу, что коллизии эти прут теперь да прут на него плотным строем, строй за строем, — ни дать ни взять психическая атака из "Мы из Кронштадта". Уморительно? Наивно, как старое кино? А Бог его знает. Все-таки жизнь человека. Такого вот человека, такая вот жизнь. А что юмора у Творца наготове попросту не меряно, так кто ж того не знает? Кто? Тут добавить нечего. Вот и не станем. А лучше воспользуемся просветом задушевности в застолье при свечах, и пропихнем в него парочку назревших вопросов.

Просвет с вопросами

Мы: — А ну-ка, признайтесь поскорее, почему такой отлаженный układ такой влиятельной, как вы рассказываете, персоны вдруг ни с того, ни с сего дает сбой и идет в разнос? А?

Рассказчик (*достойный сын своего славного города на вопрос — вопросом, и не одним*): — А вам, значит, причину с ошибочкой на блюдечке с каемочкой, да? я вас правильно понял? Мораль на подносе в авторском соусе? Так что ли? А вы-то сами как думаете?

Мы (*переполняясь чувством собственной правоты*): — Так мы ж, мы ж не знаем, что думать. Вы ж, вы же знаете, что, а не мы ж.

Рассказчик: — Позвольте, эта штука у вас на плечах — башка? Правильно? Ваша? Господь не обделил? Папа с мамой не обидели, нет? Ну так как?

Мы (*обиженно*): — Ну что "как"? Рухнула, ясно, семья, верная ячейка общества, это раз, — вот и перегадил себе старый козел всю на фиг автобиографию... это два...

Рассказчик (*разражаясь заразительным смехом*): — Авто, говорите, био? (*Хохочет*). Позвольте взять на вооружение. (*Дальше с тонкой печалью*). Борода, седина, бес в ребро, так что ли? М-да. Не шибко. (*Энергично*). Вот что я вам скажу. Ваши "почему" от праздного ума, а не от настоя-

ний сердечных, они только пошлости прибавляют туда, где ее и без вас с лихвой предостаточно. Вы меня поняли? Вы здесь, чтобы дослушать, я здесь, чтобы досказать. И баста! Бросьте все ваши ля-ля, и мы покончим с этим поскорее.

Возвращается на свое место, откуда его хорошо слышно.

Мы (*в зал, обескуражено*): — Вот так разъясненьице!

Еще одни мы: — Задушевно, ничего не скажешь.

Третьи мы: — И как теперь это понимать?

Голос из зала: — Да сядьте вы уже, честное слово!

Рассаживаемся по своим местам, откуда почти все слышно. Помалкиваем.

(Конец просвета.)

— Ни разу в жизни, — умилялся Кравченко. — И вот на! тебе. Вот тебе на.

— Отпустило, котик? Суп несу. Прозрачно-золотистый. По всем правилам похмельной науки. С вермишелью и сухарями.

— Да откуда, ты, позволь, Евочка, правила-то такие знаешь?

— А ты вспомни, кто у меня отец на Дальнем Востоке. Вспомнил? Он тебе понравится. Вот увидишь.

— Надо думать, — роняя крошки, благодушествовал Кравченко сквозь горячую еду с сухарями. — А я ему? Вот ведь вопрос не праздный.

— Ты о возрасте? Вот ты глупый...

— Ну, почему, не только. Иные аспекты, ракурсы. Кто я тебе? — (Ну чисто Гамлет при супе с вермишелью.) — И кто мне ты?

— Чтобы расписаться, котик, — напомнила Ева весело, — надо сперва развестись. А не наоборот.

— Монтаж правильный, — соглашался Кравченко. — На него бы Шуберта. А потом уж и с папенькой знакомиться.

— Шуберта?! — Ева хлопнула ресницами, как принцесса из мультфильма. — Почему не Мендельсона?

— А я их путаю, — признался Кравченко.

Управившись с супом, он взмок и осовел, однако в голове у него некоторым образом прояснилось.

— Много пью последнее время, — сообщил он и принял под второе еще одну стопку еще одним махом. — Грешок завелся.

Потом Кравченко промакнул салфеткой усы, лоб и шею, назвал Джерри Джимом и, стуча себя в грудь, стал аргументировано и нечленораздельно жаловаться Еве на себя самого на вчерашней свадьбе.

Ева слушала участливо, подсказывала выводы, помогая ему спра-

виться с удушливыми приступами раскаяния, с нападками чего-то неподобие совести.

— Нервный срыв, — говорила Ева. — Это беда, а не преступление. Вкальываешь без передыху, и вот истошил себе нервную систему. Они ж там все, небось, лодыри откормленные, с них, как с гусей, хоть бы хны, а тебе выходит, котик, глотнул и с катушек.

— Ну, почему глотнул и всё? Я много, много выпил. Пилось-то как раз как вода.

— Вот видишь, и вкусовые акценты смещены. Дистония. Я научу тебя, котик, отдыхать. Ты скоро справишься.

— И представляешь, нет, ты себе не представляешь, чтоб ему пусто было, — гундосил Кравченко и в который раз излагал Еве множащиеся подробности субботнего апофеоза, когда он при всем честном и еще не захмелевшем свадебном народе толкнул тост, в котором, сперва путано, а потом очень даже вразумительно, предложил всем дружно выпить за то, что у Любавского всего три, а не тридцать три, дочери, и поскольку две из них уже "выстрелили", то теперь всего лишь один (а не сто один) плохо воспитанный и не особо одаренный молодой прохиндей обладает гипотетическим шансом прорваться в уважаемый и почитаемый, как у нас в стране, так и во всем мире, большой отечественный кинематограф в обход, так сказать, главных ворот, где на часах денно и ночью бдят преданные стражи, такие как Кравченко и иже с ним, и мимо которых, конечно же, не проскочит незамеченным никакой случайный или не случайный проходимец, горько!

— А что ж супруга твоя с тобой? — риторически вопрошала Ева. — Отчего не осадила вовремя, не стащила за рукав, по ноге не стукнула, а?

— Самоустранилась! — вскинулся Кравченко. — А я на нее так рассчитывал!

— А ты на нее не рассчитывай! — наставляла Ева. — Кто она тебе? — еще один Гамлет в пеньюаре. — Она тебе кто нынче? А никто! Вот кто.

Кравченко виновато кивал чубом.

— Главное, котик, ты завтра извиняться только не вздумай.

— Да что я, маленький, честное слово!

— Изыск и натиск, ты умеешь, котик. Не давай им шансов. Только натиск. Без пауз.

— Да знаю я, знаю, — заверял Кравченко. — Что я, маленький? Не буду я в осаде, сам наступать могу, верно?

— А теперь спать.

В эту ночь его назвали двужильным, и это был самый желанный за всю

жизнь комплимент. А, возможно, и не комплимент, а на самом деле, от души, хоть и шепотом, тем более, что шепотом! Очень может быть, что телесно той порой он и впрямь явил собой образец мужской напористости, однако психические казусы, скажем, с памятью, продолжили донимать его самым неожиданным образом.

Поутру в прихожей надевал пальто. Из спальни выпорхнула Ева. Пересекла кофейный из кухни аромат сквозняка.

— Юлик, брюки это, котик, не шотландский кильт!

— Ты о чем?

— О том, что под брюками обычно носят трусы, так удобно, так полагается.

— Ну.

— А ты забыл.

— Шутишь? — он машинально проник себе под ремень. Сунул Грека руку в брюку, а никто его не цап! Хмыкнул. — Ты гляди! А где ж они?

— Вот. Возьми. Остались на месте.

— Так что ж теперь все переснимать заново?

— Думаю, да, котик, — сказала Ева. — Так будет правильно.

В ярко освещенной прихожей, в уже надетом пальто, уворачиваясь от возбужденного утреннего Киссинджера, он стаскивал с себя увесистые брюки, хмыкал и качал головой.

— Это ж надо. Первый раз в жизни, — хмыкал он.

No comment.

Всем молчать.

До десяти было тихо.

Его никто не трогал. Зажатый предстоянием один в кабинете, дабы укрыться от спрессованной пасмурности понедельника, Кравченко вспоминал свои комсомольские годы на историческом факультете, не события, нет, те от многократного редактирования стерлись, а общую эмоцию, она еще где-то витала, коснулась его, он умилился, прикинул (впервые) как бы это — жизнь переиграть заново.

Ждал.

Внутренний аппарат звякнул ровно в десять. Низкий прокуренный голос властительницы их общей с Любавским приемной пророкотал в трубке:

— Юлий Вадимович, еще раз доброе утро, вас просит к себе директор.

— А скажи, любезная... — произнес в трубку Кравченко и споткнулся: во-первых, заподозрил, что обычно обращается к секретарше не на ты, а, во-вторых, вынужден был признать, что напрочь не помнит, как ее зовут,

ни имени, ни отчества, ничего. Их секретарша была грозой всей киностудии, где трудилась с первого послевоенного года, то есть, более сорока лет; у нее на подхвате всегда стучали по клавишам да щебетали по телефонам две-три девчурки, и еще появлялись и исчезали грубые технички, долговязые и плоские курьеры и подозрительные, самого разного вида учетчики и учетчицы; их секретарша была на самом деле не секретаршей, а высочайшей эффективности и всеохватности суперадминистратором, с апломбом, уступавшим разве что только ее явным и тайным личным связям; она вела род из по-старому богатой династической семьи, кажется, стоматологов, уехавшей еще, кажется, в начале семидесятых, а она не уехала, совершенно точно, и каких только предложений и приглашений, от каких только людей и организаций к ней не поступало за эти годы, а она осталась там, где осталась, — обожала кинопроизводство, и действовала тут так, как действовала, как сердцу любезно; миф о ее оголтелом церберстве давно превзошел размеры приемной, в которой оно, церберство, собственно, и осуществлялось, преодолел масштабы студии и города, рамки отечественного кинематографа и даже государственные границы, а о давних ее и недавних любовных похождениях ходили, нет, носились самые умопомрачительные слухи и легенды; она была жгучей крашеной брюнеткой в дюжине золотых колец, с тяжелыми украшениями в ушах и на шее, с вишневой помадой на губах и сигаретных фильтрах и сверкающим маникюром *Bloody Mary*, бликующим сквозь вечно вьющийся дымок *Rothmans* или *Marlboro*; и вот эту женщину бессменный уже без малого четверть века главный редактор киностудии Юлий Вадимович Кравченко умудрился забыть, как зовут-величают. Если это не катастрофа, то тогда скажите, а что тогда катастрофа? — Э-э-э, любезная... А впрочем, ладно! Все там будем...

Он швырнул трубку и выругался. Что это я только что сморозил? Он потряхнул чубом, распахнул дверь кабинета и, одолевая тяжесть штанин с манжетами, двинулся через приемную.

Глянул мельком на секретаршу и, если честно, то почти уверился, что прежде никогда ее не видел.

А что, все может быть. Совсем с ума посходили, мелькнуло у него в голове. Разве ж можно так.

Эта женщина у них в приемной ему сказала:

— Юлий Вадимович, а хотите, я вам пенталгин добуду?

— Что за глупость! — наклонившись вперед и слегка запыхавшись, он продолжал грести через приемную, оказывая сопротивление невидимому встречному потоку. — В жизни лекарств не принимал. С какой стати?!

Она окунула его сквозь дымок в рентгеновский взгляд черных очей и улыбнулась по-вишневому:

— Ну, не хотите, как хотите.

Он наконец достиг противоположной двери, ухватился за ручку и, не рассчитав силы, рванул створку настежь. Колдовское давление приемной теперь вдруг буквально впихнуло его в кабинет и устремило чуть ли не бегом по ковровой дорожке на восседавшего за столом с постным видом директора.

— Ну что? — прямо от дверей с перепугу на бегу возопил Кравченко. — Что там еще? Стряслось что-нибудь?

Каким бы закаленным номенклатурщиком господин, как теперь принято, Любавский ни был, а только вряд ли за всю его некроткую карьеру когда-нибудь к нему в кабинет по его же вызову кто-нибудь заявлялся таким вот неопишным образом. И пусть определяющим фактором в поведении Кравченко в то утро было не что-нибудь, а прогрессия его собственной амнезии, но только результатом всей этой безалаберной эксцентричности явилось для начала полное Любавского замешательство. И потому мы с вами никогда не узнаем, какой разнос или чего похуже было уготовано Юлию Вадимовичу в то утро. Субботний тост, похоже, проскочили! Что бы директор ни замышлял со вчера с вечера и сегодня с утра пораньше, каковы бы ни были предварительные разработки этого непростого разговора, теперь они спутались и рухнули, а установленный загодя вектор развития событий переломился, как тростинка, и новое направление пришлось выверять уже по ходу. Замешательства своего тертый, битый, многоопытный Любавский, конечно, не выказал, а вместо этого свою постную, с которой в ожидании виновника восседал в кресле, физиономию он оперативно сменил, минуя дрогнувшую и растерянную, на участливо озабоченную.

— Да вы присядьте, Юлий Вадимович! — вышел из-за стола, раскинул руки. — И, может, для начала все-таки здравствуйте?

— Конечно, здравствуйте! — заявил Кравченко, не моргнув глазом. — А то как же!

— Да, действительно, как? — согласился Любавский и обратился к своему визави, не поймешь, то ли с подспудной угрозой, то ли с хорошо скрытым юмором, то есть, то ли и впрямь официально до одури, то ли стилизовано под что-нибудь вроде "*Волга, Волга*" или "*Здравствуйте, мы вас не ждали*". — Присаживайтесь, товарищ Кравченко, — сказал он (представляете?). — Вы, товарищ, присаживайтесь. Стулья у меня здесь все

крепкие, с запасом, так сказать, прочности, так что смело располагайтесь на любом, какой душе милее.

— В мой огород? — констатировал Кравченко, хоть и вопросительно, а все же констатировал. Про себя подумал: я риторик. А вслух продерзил: — Только при чем тут душа? Что за душа? Откуда? Мы ж с вами в атеистическом ключе, я так понимаю, любезный э-э-э...

Пауза. Нет, не помнил он его имени-отчества, напрочь не помнил, а может, и не знал никогда. Спасибо, что хоть фамилия не улетучилась, и спасибо, что Любавский хоть был похож на Любавского, не полностью, конечно, но в основном, в общих чертах. Виделось ему, Кравченко, что это Любавский: рубашка белая, подмышки потные, на локтях пружинки для поддержания рукавов, на спинке кресла пиджак с орденом "Знак Почета"; помнилось ему: это Любавский — подтяжки сиреневые, и на двери **ДИРЕКТОР**; зналось ему, Любавский это: розовый, лысый, в испарине, губа голая, зуб золотой, пальцы волосатые — достаточно точно, хотя, конечно, можно и ошибиться, никто не застрахован. Повсюду коварство. Предполагалось: они уже встречались, видимо, по работе, и еще, пожалуй, на торжестве по случаю, чтоб ее, свадьбы, не забыть бы.

— ...любезный товарищ Любавский. А? Атеисты мы или кто? А в отношении стульев и по давню ни ум, ни сердце, а разумно тут принять во внимание одни только предпочтения родной жоны.

— Всегда завидую вашему юмору, — грустно сказал Любавский. — А мне Бог, знаете, не дал.

— Бог? — вскинулся Кравченко. — Душа? Вы что, мою идеологическую выдержку проверять надумали?! Так она у меня, позволю заметить, хоть куда. И выдержан. И устойчив. И что вы хотите. И чхать мне и на бога и на черта! А руководствуюсь по жизни решениями партсъезда, да! Можете проверить.

Сказал и похолодел: и зачем только ляпнул, а вдруг как спросят какого, за номером, позвольте, партсъезда решениями он, голубчик, руководствуется, уж не третьего ли, к примеру, РСДРП? или, скажем, ВКП(б) семнадцатого? Что тогда? Он же напрочь не помнит, какой по номеру был последний, основополагающий. Двадцатый? Да нет, вроде. Вроде, и двадцать второй уже прошел. А, может, и двадцать четвертый с двадцать пятым, и еще. А, может, нет.

А Любавский, собака рыжая лысая, будто мысли прочел (коварство повсюду), говорит вдруг как в кошмарном сне:

— И каков же, коллега, позвольте, по счету тот партийный форум, решениями которого вы сегодня дерзаете руководствоваться, если не секрет, а?

Всё, это конец, и голос у него, как у заевшей шарманки, и говорит он не то, что думает, а то, что, видимо, собака, знает, и хочет — не хочет, а говорит, твякает, пробирается сквозь ноздри и уши под самый череп, волосы дыбом, мороз по коже, ну, что тут скажешь, конец, слов нет, воздух весь вон вышел.

Я бы, дорогие мои, говорит тут рассказчик, если б не знал наверняка, никогда бы сам не поверил, представляете, что Кравченко, тот самый Юлий Вадимович Кравченко, непотопляемый, в своем знаменитом сером пиджаке, со своим в руках знаменитым, черным, как ворон, кондуитом, сам знаменитый, как черт знает что, среди всей честной кинобратии от Москвы до самых до окраин и неизменно пользующийся страхом, ненавистью и черт знает чем еще прямо и косвенно зависимых и независимых от него сотен и сотен людей, этот вот весьма главный, а главное, *тот самый* индивидум взял да, представьте, обмер, обомлел с ног вдруг себе до самой головы, и обратно, и речи дар утратил. Каково! А отсюда непосредственно вывод, что вовсе он, стало быть, уже и не *тот самый*, а какой-то иной, ни себе, ни кому неведомый, переменившийся, и сколько б мы при этом ни пеняли на великие катаклизмы самой эпохи, а только, согласитесь, некультурно все же будет проигнорировать здесь урок для тех, кто в своем редакторском раже не пощадил цензурой даже собственную память. И вот. Се человек неведомый, беспощадный, и в ступоре.

Однако Любавский его молчание истолковал по-своему, а свое, не устояв под натиском неведомого, нарушил:

— Ну, будет вам, Юлий Вадимович. Мы ж не дети. Чтоб вот так в молчанку играть.

— Ну, не знаю, — сказал Кравченко, и это была правда: он не знал.

— Ну, хотите, — предложил Любавский, — юмором меня не кто-то там, а пускай папа с мамой не наделили. Обидели. Пускай папа с мамой. Так устраивает? Присаживайтесь.

— Ну, раз приглашаете.

— Ну вот, — Любавский и себе устроился в своем высоком кресле. — А то, что это мы с вами все на бегу, да на бегу, как случайные пешеходы, а? Кравченко пожал подложным серым плечом.

— Не вижу проблемы. Привык действовать быстро. Оперативно. Работы ж неуворот.

— Давайте так, Юлий Вадимович, прежде, чем дальше двигаться, сразу договоримся — не вы один на нашей, прошу заметить, *нашей* киностудии трудитесь в поте лица, не покладая, как говорится, рук.

— Готов признать, ...э-э-э... товарищ Любавский. Отчего же.

— Вот и славно. А что это мы с вами официоз такой развели, Юлий Вадимович? Я ж провеличал вас товарищем к слову, так сказать, иносказательно, то есть, попросту говоря, в шутку с юмором. А вы, прямо дело, всерьез подхватили. Отбой, дорогой мой, отбой, так не годится. У нас с вами имена с отчествами имеются. Очень даже. Прошу незамедлительно вернуть их в обиход. Договорились?

— Не вижу проблем, — твердо произнес Кравченко, ничего иного, кроме проблем, в этой беседе не видевший. Он стал бешено соображать, как же выкрутиться из такой несусветной, без имени, без отчества, ситуации. Первый раз, бормотал ему его внутренний бормотун, такое вот первый раз. И поскольку бормотал бормотун без умолку, то, конечно же, сообразить, бешено — не бешено, а как угодно, ничего толком не вышло. — Конечно, договорились, — еще тверже сказал Кравченко. — А говорите, вас бог юмором обделил.

— Ро-ди-те-ли, — по слогам поправил Любавский. — Сами ж, Юлий Вадимович, настаивали. Помните? Папа. С мамой.

— Ну, безусловно! — тверже твердого воскликнул Кравченко, норовя в такой вот, к месту — не к месту, твердости обрести хотя бы видимость сообразительности. — Только не похоже.

— Это ж в каком смысле?

— В том смысле, что обделили, не похоже. Вот в каком. Что-то не так? Ну, фрукт.

Нет, положи руку на сердце, досточтимый читатель, смогли бы вы успешно вести деловую беседу с таким вот, с позволения сказать, без пяти минут новобрачным? А? Управились бы самостоятельно? Без запрещенных приемчиков? То-то и оно.

Однако ж Любавский, что бы вы о нем ни думали, был кем угодно, но только не человеком для второго места. Он был для первого. Таких мужиков раньше в нашем городе было пруд пруди, — и бычка¹ поймать на сковородку, и заводом управить, если надо, стопку дернуть, "козла" забить, и по шее, чуть что, накостылять кому следует, и всегда загорелые, всегда на взводе, с хрипотцой и при соображении, — а потом они как-то незаметно даже не то чтобы поужжали все, или поумирали, кому час пришел, а просто как-то потихоньку быть перестали, и все тут. Повывелись. Нынче, сами видите, раритет.

— А давайте, Юлий Вадимович, мы с вами выпьем!

¹бычок — черноморская рыба (Прим. Нептуна.)

Во как. Маневр "все вдруг". Не ждали? Свистайтесь наверх!

Кравченко промолчал. Если это подвох, то что ни скажи, все против. Он даже не воспользовался классическим "на работе не пью" или его расхожим вариантом "для спиртного рановато". Он просто промолчал.

— Коньяку! — объявил Любавский.

Кравченко не прореагировал.

— Будет вам в молчанку играть, Юлий Вадимович.

— Я не молчу, — твердо сказал Кравченко. — Я слушаю.

Эта фраза явно удалась. Сложилось наконец. Он приободрился.

— А чего слушать? Я вам выпить предлагаю, а вы молчите. Чего тут слушать?

— Бульки, — твердо заявил Кравченко, повторяя шутку Скитальца. — Слушаю, когда забулькает.

Любавский расхохотался накатом, глаза навывкате, на стол приналег, раз, другой, третий.

— Ну, вы и экземпляр! Да нет, да я просто рад, да я просто счастлив, что нас с вами судьба свела. Это ж надо!

Кравченко промолчал.

— Юлий Вадимович, — продолжал Любавский, бодро разливая коньяк по фужерам, — да вы меня просто, можно сказать, не перестаете восхищать и обескураживать, честное слово.

Тщательно подбирая слова, Кравченко произнес:

— Я это не нарочно.

— Вот уж не сомневаюсь! — отозвался Любавский, протягивая полный фужер. — Нарочно такого человек в здравом уме вытворять не станет. Это точно. Ни за что не станет. А мы ведь с вами, Юлий Вадимович, оба в здравом уме, я правильно понимаю, оба? или как?

Вот оно. Кравченко вдохнул, Кравченко выдохнул.

— Если вы о субботнем торжестве, — он сосредоточенно потер серым рукавом о серый рукав, — то прошу заметить, во-первых, что по субботам ваш покорный слуга обыкновением имеет вкалывать с утра до ночи, а не сабантуи разгуливать, это во-первых, а, если надо во-вторых, то могу утверждать, что, пусть, может быть, форма моего застольного, так сказать, озвученного для всей аудитории экскурса, вероятно, местами и являла собой некую рыхлость, некую сыроватость, зато по сути он, она, нет он, экскурс, был весьма выдержан и семантически правомочен. Я и сегодня, без всякой торжественности могу в глаза категорически повторить, процитировать все то же самое. Зять ваш новоиспеченный, Петр Трофимов, Петенька, категорически хам и бездарь. Или даже не так, а — бездарь и хам!

Пшеничные брови на розовом лбу едва шевельнулись, как шелкопряды во сне, а водянистый Любавского взгляд поверх фужера обрел новые безжалостные объем и ясность.

— Вы вот что, Юлий Вадимович, — произнес Любавский задумчиво. — Правило первое: на людях выпивать вам не следует. Не истолкуйте мои слова превратно, это не дружеское пожелание, а прямая директорская директива, пардон за тавтологию.

— Я вообще не пью.

— Вот и славно. Правило второе: а выпивать — прошу ко мне в кабинет, более того, настаиваю.

— Так я ж не пью, говорю ж вам. Не выпиваю.

— А вот это вы мне бросьте. Это уж я вам говорю. Раньше не выпивали? Не беда. Так сложилось, да? Не с кем, незачем? Ну что ж. Теперь это в прошлом. Теперь вот обстоятельства складываются иным, видите? образом. Я тут теперь руковожу. Управляю. Командую. Так что прошу любить и жаловать. И заметьте, Юлий Вадимович, именно и то, и другое. Полная искренность в сочетании с разумным уважением. А где ж их взять, если не поверять себя один другому на регулярной основе. А? То-то. И еще прошу заметить, что все предложения и пожелания, исходящие от меня в течение рабочего дня, автоматически попадают в официальную часть нашего с вами сотрудничества, и потому видоизменять их каким бы то ни было образом, деформировать, а тем более взять да отклонить, для вас попросту не является ни в коей мере возможным. Если вы, конечно, полагаете себя одним из нас, при исполнении.

Ну, вот вам здарсьте.

Так уж сложилась у Кравченко его карьера, что с первых ее шагов он попал под покровительство Покровителя, и потому никто другой, кроме Самого, никогда не позволял себе ни давить на него, ни запугивать. И вот нате, позволили. И кто! Лысый рыжий простачок! А таким затурканным с первых дней представился, что куда там. Сетовать поздно, а вот пугаться самое время, и, внимая в меру сил тому, *что* и *как* излагал ему этот вот без году неделя Любавский, Кравченко пугался отчаянно, страшился напропалую и испытывал всем своим естеством ужас неизъяснимый.

— Я, конечно, при исполнении, — заверил он твердо. — И я, конечно же, один из нас. Это не требует никаких доказательств. Вы поспрашивайте и узнаете, что это аксиома.

— Ловлю на слове. Ну, будем здоровы, товарищ аксиома, а то коньяк выкипит.

Уффф, сказали оба и поставили на стол пустые фужеры. Пили по-разному, а закончили одинаково.

Переживая проникновение в себя коньячных глотков, Кравченко завальяжничал на стуле (тот и впрямь был прочен и молчалив) и вдруг припомнил Евины наставления, ни за что ни перед кем в тот день не извиняться.

— И еще я никогда не извиняюсь, — заявил он.

— Вот как?

— Да. Как Ева, — собирался заявить: "как Ева велела", но все ж спохватился и через легкий спотык выдал, — как Ева перед Адамом.

— Вот как?

— И сам, — сказал Кравченко, развивая коньячную ми-минор фантазию, — сам, прошу заметить, извинений не приемлю. Ни при каких. Ни я ни за что никому никогда, ни мне никто ни за что. Такой у меня, знайте, модус вивенди.

— Ну что ж, — сказал Любавский, разливая по фужерам. — Будем знакомиться, притираться. Куда ж нам деться. А мне вот, например, нравится принять от человека чистосердечное, да и сам, а что? могу, если повод достойный, принести свое, точно, к месту, а что? понимает, я вам скажу, вы попробуйте, пронимает, увидите.

— А я нет, — повторил Кравченко и неожиданно для самого себя состряпал под коньяк каламбур: — Простите, но я не извиняюсь.

Любавский, опять глаза навывкате, хохотал в три наката, налегая на стол, цокал по нему хромированными замками сиреневых подтяжек. Кравченко тоже улыбнулся.

— Ну, согласитесь, Юлий Вадимович, — говорил Любавский, утирая слезы, — вы же кладезь. Не отпирайтесь. Кладезь? Ну, будем здоровы.

После второй Любавский полюбопытствовал:

— А за что, вы говорите, она извинялась?

— Ева?

— Ну.

— Перед Адамом.

— Ясно. А за что?

Кравченко задумался и придумал:

— А за все.

— Ясно. И это вы, Юлий Вадимович, тоже, говорите, вычитали в материалах съездов или мы, надо понимать, еще какую иную литературу на досуге почитываем, а?

— ВГИК я закончил заочно, — возвестил Кравченко, удобно распола-

гая замшевые локти на полировке посетительского стола. — А первое высшее у меня стационарное, университетское, историческое. А содержание Библии входит составной частью в курс по атеизму, да вы ж знаете, а как же, врага надо знать, вы ж знаете.

— Ясно, что надо. Я вот тоже высшую партийную одолел. В атеизме огромную стрыз собаку. А не припомню, чтобы Ева перед Адамом да извинялась.

— Вы думаете? Жаль.

— Вот именно. А надо бы, да? — и Любавский снова прохохотал на свой прибойный манер, а Кравченко снова расправил усы попышнее.

— А говорите, юмора нет.

— Правило третье, — объявил Любавский, разливая по третьей. — Дружить домами.

— Помилуйте! — вырвалось у Кравченко само собой. — Это ж уже и впрямь ни в какие ворота! Где ж это видано! Посреди бела дня. Оккупация с порабощением. Иго! Орда.

Над фужером с коньяком, как над рогом с вином кавказским, Любавский произнес проникновенную речь, подстать высокогорнейшему тосту.

— Сейчас вам это видится в таком ракурсе, Юлий Вадимович. Не беда. Со временем, обещаю вам, вы свою точку зрения перемените. Кардинально. И будете мне еще благодарны, вот увидите. Могу вас заверить. Сильно благодарны. В этой связи, позвольте, у меня к вам просьба. Настоятельнейшая. Вы, Юлий Вадимович, не художник-беспризорник, так? и не писатель-фангаст какой-нибудь, отнюдь, и не редактор, упаси Бог, какого-нибудь шалтай-болтай самиздата, верно? А вы, Юлий Вадимович, занимаете должность главного редактора одного из престижнейших в нашем государстве идеологических предприятий. Я ничего не путаю? Я прав?

Кравченко же не удостоил его тут ответом. И не потому, что желал продемонстрировать характер, или же в силу риторичности самих вопросов, нет. Поглощенный общим замыслом происходящего, он попросту не распознал в словах Любавского никакой вопросительности.

С первых же слов этого монолога большой интриги (МБИ) на главного редактора обрушились страннейшие переживания: он испытал внутреннее покалывание, будто его вдруг откупорили, и из него отовсюду к поверхности устремились пузырьки, и в таком состоянии воспринимать тост-модерн Любавского он мог уже лишь в его мелодическом аспекте с переливами и обертонами, не подлежащими расчленению на отдельные кубики смысла. Зачарованный, как кролик, он внимал магии звука и в какой-то момент ощутил изнутри внятный толчок-напоминание.

Нечто напомнило ему нечто.

Некий мелодический финт вдруг подтолкнул его, казалось, к распознаванию нераспознанного, но опять же с первой попытки ничего не случилось. Соскользнуло. Не удалось. Только наискось перед мысленным взором переливчатая пронеслась картинка индуса с дудкой и кобры с удавом, а где же кролик?

— Вы, Юлий Вадимович, так, чтобы нам с вами было понятно, не вождь племени мумба-юмба, надеюсь, согласны? а государственный служащий Союза Советских Социалистических Республик...

Что-то это все Кравченко, конечно же, напоминало, напоминало, ну, никак не удавалось ухватить.

— ...Высокого ранга служащий на службе у государства...

Все! поймал! распознал! Вспомнил. Узнал и обмер: это было его собственное отражение, это он был, а не Любавский, он, Кравченко, а он, Кравченко, был не он, а скиталец какой-нибудь зачуханный с какой-нибудь навязчивой идеей или даже без идеи, а так просто, тропинин какой-нибудь с ледоходным или кем там еще, сколько их всех за век перебивало, переживало на скрипучих, на зыбких стульчиках по ту сторону его надежно оборудованного стола... Да вот теперь и ему черед пришел, или не ему? кто здесь где? а кому же? выпало сидеть незащищенным, уязвимым, маленьким на подходах к столу директорскому (кто с чем куда придет, тот там тем и ушибется) и, обмирая душой и телом, внимать, внимать...

— И я тут, не поймите меня, само собой, на службе, службист, а как же! и на этой службе руковожу предприятием, на котором вы служите на службе у государства. Улавливаете? И потому моя просьба к вам, Юлий Вадимович, любезный, не считите за бестактность, проста и вполне выполнима, а именно, самым оперативным образом в ближайшее же время, то есть на этой, голубчик, неделе, благо сегодня только понедельник, задокументировать полнейшее осуществление личного бракоразводного процесса и, как следствие, тут же, без промедления оформить чин-чином официально свои же, опять же таки, вроде как, личные, да? отношения с ненаглядной вашей гражданкой Евой батьковной, Адам вы мой, да? седовласый, Вадимович. А истязать себя, выводя в свет бывшую жену, думаю, больше не следует. В наш с вами, замечу, очень даже официальный свет вашу, замечу, очень даже бывшую — не годится, как говорится. Не рекомендовано, знаете, министерством здравоохранения. Я вам это, говоря простым языком, говорю вполне категорически, то есть, попросту запрещаю. А не то вы запросто, дорогой мой, вполне ноги протянете, Юлий Вадимович. А это нехорошо. Очень даже нехорошо.

Кстати, вы это ваше соображение, как вы его, деловое внесли б к себе в "воронки" по всей форме, полновесно, на отдельную видную страницу, чтоб всегда легко сыскать, если что. А бочком по исписанному, Юлий Вадимович, до добра не доведет. Оно ж ведь — случилось раз, может случиться и другой, правильно?

Бедный Кравченко:

— Что ж вы в виду имеете?

— А то не знаете. Юлий Вадимыч! Конечно, Матильду Бенционовну. А что?

Вот так. Тот себе, значит, фрукт, а этот себе чемпион из нехвастливых.

Ну, и компания.

Кравченко вздохнул, перевернул в блокноте чистую страницу и начертил аккуратно сверху в первой строке: *Матильда Бенционовна*, прочерк, *секретарша*. Подумал и добавил: *Сидит в приемной*.

— Может, вам и фамилию подсказать? — спросил Любавский, дорезая лимон.

— Не стоит. Как-нибудь в другой раз.

— Ну, как знаете. И помните, Юлий Вадимович. Я вам всегда помочь готов. От меня секретов не надо. Смысла нет, и друг я вам.

— А знаете что, — сказал Кравченко. — А впишите мне сюда своей рукою, раз уж домами дружить, ваши координаты с телефончиком.

— А знаете, — сказал Любавский. — А впишу.

Фух, вздохнул про себя Кравченко. Гора с плеч. Он передал блокнот с раскрытой страницей, Любавский энергично поводит в нем вычурной ручкой из настольного прибора, поставил точку, возвратил, Кравченко глянул и чуть не вскрикнул от досады. Были там два адреса, дачный и городской, два телефонных номера, была и фамилия Любавский, а за ней два инициала с точками. Так вот. Никто не даст нам избавленья. Любавский дождался, когда у Кравченко довытянется физиономия и наполнил кабинет накатывающим смехом. А вслед за этим и фужеры коньяком.

— Что, Юлий Вадимович? — улыбался он во всю ширь. — Крепко? Думаете, вот стервец, да? на словах, мол, друзья, должны помогать, а сам во как, да? А я вам так скажу, Юлий Вадимович, дорогой. Есть на свете, друг мой, есть, вещи, которые человеку надлежит исполнить самому, очень даже самому, то бишь, в одиночку. А не то — без толку. Ну, вот, к примеру, наш с вами случай. Разбираем, как друзья, да? без всяких иносказаний. Я, к примеру, да нет, даже не к примеру, а на самом деле, я — и как директор и как человек — жду вот не дожусь, когда ж вы наконец обратитесь ко мне по имени-отчеству в подтверждение, так сказать, всех заключенных между нами договоренностей, в знак дружбы и уважения,

в знак, в конце концов, простой человеческой благодарности, да, а что? ведь есть за что? И вот я жду, жду, а его все нет и нет, этого обращения с пиететом. И что же, это вы, что же, враждебность свою ко мне демонстрируете? Отнюдь. Это у вас просто из головы выскочило, как меня зовут-величают. Ха-ха-ха. Только и всего. Так вы что ж, сумасшедший? Опять же нет. Просто-напросто переутомились. На службе, надо думать, переусердствовали, вот запас прочности серого, так сказать, запоминайте, вещества и подыстощился некоторым образом. Опять же на личном фронте такие, скажем, пертурбации с протуберанцами, что само по себе непосильно для нашего-то с вами возраста, верно? Запоминайте. И другим, если что, сказывайте, только не очень. А тут еще и в обществе подвижки с передвижками. А тут еще и начальство новое по-новому метет. Да? Вот оно все и сказалось на способностях общей, назовем это, ориентации, на хваленной в конце концов памяти вашей феноменальной. Как быть? Передохнуть бы. И передохнете. На меня положитесь, и все утрясется. Вот увидите. Да, но сейчас-то как быть. Мне ж уже совершенно невтерпеж услышать в вашем-то исполнении это самое ко мне с пиететом да по имени с отчеством. Да. Так не терпится, что прямо в носу чешется.

Отставив в сторону фужер, Любавский разогнулся всем своим массивным корпусом и со всего маху чихнул:

— А-а-а-ппп-ччч-хххььииииииииииииииииииииииииииииииийй!

Кравченко счел за благо промолчать.

— Спасибо, — сказал Любавский, — буду, — вытер губы рукавом, смахнул слезу. — И вот представим на минутку, что я вам взял да и подсказал, как меня зовут-величают. Представили? И что? Вам-то оно, может быть, и гора с плеч. А мне? А мне, лобезный Юлий Вадимович, извольте видеть, никакого удовольствия. Вот что. Так что потрудитесь, друг мой, навести необходимые справки самостоятельно по своим каналам, но только так, конечно, надеюсь, чтоб и не прослыть при этом, вы ж поймите, известным в городе сумасшедшим, вы ж не сам по себе, вы ж понимаете, вы ж на службе, вы, ё, разузнайте, душа моя, установите все, что полагается, а инициалы у вас уже, хвала случаю! проставлены, и добро пожаловать назад сюда в кабинет к трем, скажем, пополудни. Для исполнения. Ну как, договорились? Ну, давайте, за нас, за наши с вами и наших отцов имена!

Выпили.

— Угощайтесь. А лимон — в сахар, в сахар и вперед! Последний, говорят, император России так коньяк изобрел закусывать. И не ищите, Бога ради, в моих словах подтекста. Там его нет.

— А знаете! — неожиданно звонко сказал Кравченко, которого, по прошествии вовнутрь и этой порции коньяка, все разом вдруг чудесным образом утруждать перестало. — Знаете, я, пожалуй, уже сейчас, по-пробую. Не надо мне, думаю, никаких дополнительных изысканий. Никаких консультаций.

— Вы насчет подтекста? Так говорю ж, нет его там.

— Я по поводу инициалов. Я, кажется, уже установил. То есть, восстановил. Вы позволите?

Любавский расположился поудобней в своем кресле, сделал широкий жест рукой и подтянул пружинки на локтях. Кравченко поднялся, вдохнул поглубже и, заливаясь краской, произнес нетрезво, от души:

— Прошу покорно простить мне мою непростительную забывчивость, уважаемый и дорогой такой-то и такой-то*...

Он выговорил имя-отчество Любавского достаточно членораздельно, не без известного артистизма, ничего не напутав, ничего не сократив.

— Ну, наконец-то, — воскликнул Любавский. — Верю! Давно бы так, черт подери! Верю, и хватит об этом.

— Все правильно? — спросил Кравченко, набиваясь на комплимент, мол, какая память, а.

— Абсолютно. Только вы вот что, Юлий Вадимович, присядьте, пожалуйста. И запишите. Тут. При мне. На чистой странице. Или к адресочку с инициалами. Пишите разборчиво. Я проверю. Шучу. А впрочем. Готово? И теперь, Юлик, чуть что, зырк туда, и — полный порядок! Пока так, раз так. А дальше видно будет. Ну, за дружбу, за то, чтоб не забывать, а помнить, будем здоровы!

Кравченко записал имя-отчество. Кравченко чокнулся. Кравченко выпил.

— Угощайтесь.

— И кстати, — Кравченко обронил слюну сквозь лимон с сахаром. — Чуть не забыл! Раз уж так, как оно, так — вот оно как. Смотрите. Я тут, здесь, не просто, а — аксиома, помните? понимаете, принимаете? согласны? нет? да? тридцать лет без малого аксиома, во, а вы тут, при всем уважении, кто бы, что бы, где бы, как бы, но только теорема, всего лишь пока теорема, которую, как известно, надо еще доказать, аксиому не требуется,

а теорему, как известно, требуется, вам, дорогой мой такой-то и такой-то, требуется, да, доказать, да, да, вам, ну, хотите, не вам, а нам — нам с вами, а, если нам, то тогда так давайте, вот так: я — не аксиома, ладно, годится? улавливаете? но и вы, дорогой мой, тогда — не командир, нет, не верховодец тут над всем без продыху, а то без продыху пару нема, корабль не едет. Договорились?

Говорил Кравченко, говорил и испытывал назойливое, маслянистое на ощупь чувство, что, вроде как, и не он это, а Любавский — тот излагает, а он, Кравченко, лысый и розовый, с шелковисто-пшеничными бровями, крепкий такой, основательный, внимает ему, Любавскому, седовласому, черноусому, в сером пиджаке с налокотниками из замши темно-коричневого цвета, внимает и внимает, и внимал бы так и внимал, и не важно, кто, где, кому, и зачем, и ничего не надо ни отвергать, ни редактировать, все уже саранжировано, уже мелодично, грандиозно и в полном ажуре...

— Ну, вы даете, — сказал Любавский. — Прямо как космонавт.

— Почему, космонавт?

— А. Долго рассказывать. Космонавт — Георгий Гречко, знаете? а рассказывать — долго, долго, ну, сил нет.

— Как жаль, — прослезился Кравченко. — И до чего ж это все печально, дорогой мой такой-то и такой-то. Грустно-то как, правда?

— Не правда. А над вашим предложением, Юлий Вадимович, я — покумекаю. Оно не лишено. А главное, от души. Я так понимаю? За это надо выпить. Не перестаю вам удивляться. Ясное дело, бабенки от вас наперебой без ума. И не отнекивайтесь! Вы же просто уникам, кладезь, фрукт и овощ. За вас! До дна.

— За Еву! — раздухарился Кравченко.

— Да, кстати, Юлик, — продышавшись и жуя, — что касается твоей точки зрения, высказанной столь экспансивно в субботу вечером касательно нашего режиссера Тропинина Петра батьковича, то, замечу, а ты кумекай, что в один прекрасный или же не прекрасный день, я думаю, я смогу ее разделить, точку-то ракурса — полностью или частично, там уж видно будет. Вопрос же не в этом. А в том, чтоб к месту, чтобы вовремя, а не когда моча в голову, конфуза ради. Ферштейн? Ну, давай еще по одной, не оставлять же.

— Так ведь уже другая, — заартачился Кравченко, и не столько из-за коньяка, сколько из-за вдруг царянувшей его глубоко изнутри досады; досады на то, что, как он не тщится, а за интригой Любавского поспеть не в силах, отстает, и, как следствие, чувствует себя глубоко униженным по

*Г-н Любавский в настоящее время занимает весьма крупный пост в одном из подразделений той самой структуры, которая некогда и направила его руководить киностудией, а потом, выбрав в новых временах момент поужнее, отозвала к себе же назад с вполне естественным повышением — ведь каждый ангажент теперь на счету. Мы не приводим здесь искомого имени и отчества, поскольку не желаем, чтобы у нас вышли неприятности, а на фамилию нами получена лицензия. (Прим. рассказчика.)

всем правилам своего же собственного искусства унижать. — Вторая бутылка ведь уже, да?

— Ох, вы, Юлий Вадимыч, все на ус мотаете, да? все! Наблюдательности вам, значит, не занимать, нет? Кстати, примите комплимент, усы ваши лучше, чем у Михалкова, клянусь. Ясно дело, что девчонки млеют косяками. Табунами и стайками. И не отнекивайтесь, а принимайте. Вторая, говорите? Вот так цепкость восприятия! Кто б мог подумать. Об вашу зоркость, я вижу, любой престижджитатор башку себе расшибет. Вдребезги! А! Какое слово! Что тебе топинамбур!

— Вдребезги?

— Престижджитатор.

— А-а-а.

— Тем более, как я, доморощенный. Да-а-а. Вот так кинохватка, Люлий Ладимыч!!! Если б не память вот, могли б, доложу вам, бля, и в разведчики, да, сам бы рекомендовал, ну, если, конечно, усы сбрить, да, конечно, усы сбрить и все на фиг повывзубривать от "а" до "я", правильно? а то, блин, представляете, мы вас, значит, с вами туда, как лучше, а у вас там без нас, значит, с памятью вдруг бац! и нету, хоть шаром покати, ни усов, ни памяти, ни даже щетины под усами, ай-я-яй, гуляй, Вася, гусей Гали, пусто, все на вас сразу: кто-о-о рекомендовал, а вы ж, ё, ни бумбум, вы ж там нэм тудом, фэрэшварыш, тут у вас хоть усы, правильно? а там что? один Балатон! вот умора б, если б представить, да, амнезия, конечно, да, частичная, разумеется, раз слово амнезия-то при памяти, молодец! ну, прямо в разведчики, только без усов, да? ну, будем!

— Будем, — сказал Кравченко. — Не оставлять же, и в самом деле. За вас, дорогой мой такой-то и такой-то! Правильно?

После этого тоста Любавский захмелел еще пуще.

Прикидывается, собака рыжая, ловко придуривается, что ему, быку-то пунцовому, сделается! это ж я, думал Кравченко, захмелел, я, а не он, а он, седой себе весь, импозантный, черноусый, вежливо так меня слушает, а я, весь себе заплетающийся, вот ведь как накатило! лысый и потный, с пужинками на локтях и замками на подтяжках — цок!-цок! по столу, — несую всю эту чушь в нетрезвом раже.

Кравченко снова протянул руку и во второй раз ощупал директора. И опять ничего не выяснил, только запутался. А у Любавского платок на этот раз был уже тут как тут, измочаленный, но вполне применимый, так что Любавский на этот раз утер им лицо, даже не прерывая своего надуманного бреда:

— А мы тут на местах, — мастерски бредил он, — люди простые, поспевай, понимаешь? Происхождения мы тут на местах самого что ни на есть пролетарского, в корень глядишь? рабочего, рабочие мы люди, разумеешь, трудовые, конкретные, и требования наши тут у нас на местах тоже просты и неукоснительны, верно? не поймите меня неверно, однако так это или не так? Так! Верно ведь, ведь верно, что так, так что, смотри, не ошибись... — и т. д.

Кравченко засобирился. Любавский проводил его до дверей, обнял и прошептал вдруг тихо, трезво в самое ухо (мороз по затылку):

— Ты только, Юлик, упаси Бог, стучать на меня. Аб-со-лют-но беспер-спек-тив-но... но... но. Поверь на слово, — он отстранился и сказал уже громко: — А то, знаешь, есть такие работники, которые все что-то роют. И роют они, и роют яму за ямой, да что там ямы! котлованы целые, а не ведают, кому роют, невдомек им, Юлик, что себе роют. Вот чудაკи.

Кравченко покусал усы, с одной стороны, с другой, посередке, и все же решил ответить:

— Не имею обыкновения, — сказал он. — Собственно говоря.

— Обыкновение тут дело десятое, — сказал ему Любавский. — Имеешь, не имеешь, сейчас не об этом. Да это и не суть важно. Я тебе о том, что на меня — ни-ни. Так как?

Кравченко снова пожевал усы и сказал:

— Честное пионерское!

— Ну, добро. Годится для начала.

Они обнялись.

— Ты теперь, брат, сегодня уже без толку по территории не шастай понапрасну, ты теперь, брат, домой давай. Очухивайся. Память репетируй. И порасторопней с моими рекомендациями, не тяни.

— Будет исполнено, такой-то и такой-то! — Кравченко взмахнул чубом и восхитился собственным послушанием. Ему вдруг понравилось подчиняться без рассуждений. А ведь хорошо, понял он. Хорошо-то как. И не надо ничего.

— На посошок.

— Это надо.

Они вернулись к столу.

— Я вам так скажу, Юлий Вадимович. Настоящий работник на службе он не гнушается ни пылинку с рукава смахнуть, ни ворвань себе отмыть, отдраить.

— Ворвань?! — изумился Кравченко, так, что чуть коньяк не расплес-

кал, а ведь казалось, не было уже никаких сил ни на коньяк, ни на изумления. — Вы сказали, ворвань?!

— Да, представьте себе, даже ворвань. Представляете?

И снова Кравченко испытал неодолимый позыв сказать правду. Дурной знак.

— Нет, — сказал он. — Не представляю. Простите, но ворвань это выше моих возможностей.

— Не беда, — сказал Любавский. — Вместе приналяжем. Ну — на брудершафт и по местам.

Кравченко добрался до кабинета бездумный, переполненно-пустой, почти счастливый. Разыскивая водителя Гришу, позвонил Еве.

Она спросила: — Не извинялся?

А он ее: — Что ж такое на самом деле, скажи мне, ворвань?

И Ева ответила:

— Езжай домой, котик. Я тебе ванну наберу.

А он ответил на ее вопрос ей:

— Нет, не пришлось.

Всю следующую неделю каждую ночь он редактировал новый невиданный сон и к воскресенью вымотался окончательно.

После прогулки по парку с Евой и доберманом Киссинджером он улегся в гостиной на диване и мгновенно погрузился в шумный поток короткометражных сновидений, они разнились по стилю и тематике, он суетился, не поспевал, резал их на хип-хап и проклинал все на свете, опасаясь неизбежных наказаний.

Была ночь. Такого с Кравченко еще ни разу не случалось, чтобы взять да проспать ни с того ни с сего полвоскресенья. Он включил свет и ходил по гостиной бездумный и злой, пересчитывая на полках яркие тома чужих сочинений. Из спальни сонный голос Евы: "Юля, ты голоден?". Буркнул: "Спи, Ева, спи". Дверь спальни приоткрылась, оттуда выскользнул Киссинджер, зевнул, забрался на освободившийся диван, прикрыл один глаз, а другим наблюдал за Кравченко. Кравченко пробормотал: "Дай, Джим, на счастье лапу мне", и снял с полки пятый том сиреневых сочинений. Раскрыл наугад и, проглядев страниц десять-пятнадцать, отчеркнул простым карандашом те места, которые, будь они написаны сегодня, никогда бы не увидели свет. Чисткой классиков он занимался и прежде, так, для души. Это занятие неизменно дарило ему веру в собственные силы и успокаивало. Однако сейчас и оно не принесло облегчения. Он наскоро

почеркал еще два тома, небесно-голубой и зеленый с золотым тиснением, но так и не смог избавиться от пугающей вялости ума. "И зачем переиздавать?! — проворчал он. — Вредоносны, заносчивы... Померли... Жаль, что померли... Мы б их вправили, перекроили б... А так..." Он вернул книги на место и задвинул стекла. Оглядел полки, все сотен пять разноцветных прочных книг, и будучи уверен, что никто, кроме Киссинджера, его не видит, не слышит, позволил своим чувствам выплеснуться наружу.

— Зато экранизировать вас мы — во! — прошипел он и, вскинув руки, принялся раздавать этому молчаливому собранию хрустопалые синюшные кукиши. — Во! Накось выкуси! Во тебе, во!

Утомившись, он отправился в спальню к молодой невесте. Сон его был сладок.

А в субботу, ну, не в эту, так в другую, да, да, сыграли свадьбу.

И Любавские теперь у них были лучшими друзьями.

И Ева была без ума от жизни новой и друзей, и лично от такого-то и такого-то. Какие мужчины ее теперь окружали! Как в сказке.

А в понедельник зарубили Ледоходова. Удалось. И с таким душком удалось, на таком отчаянном провернул это Кравченко вираже своего вдохновения, что у старика даже в Москве вышли неприятности, причем не какие-нибудь, не до завтрашнего утра или там до конца недели, а вполне костоломные, на почве идеологии, пусть и угасающей, но еще очень даже прожорливой и зубастой.

Ледоходов, конечно же, ему позвонил, конечно же, в панике.

— Все, что мог, уж положитесь, сделал, — сказал ему Кравченко; он был холоден, собран, вежлив. — Однако ж вы, товарищ Ледоходов, и меня, извольте видеть, под монастырь подвели. Кто ж знал, что вы там такого вдруг понаписываете?

— Как, кто знал?! Какое ж вдруг?! Да вы же сами...

— Вот и название взяли изменили ни с того ни с сего. Взяли и...

— Да не менял я никакого названия. Ну, что вы, честное слово, Юлий Вадимович! Сто раз одно и то же. Да причем здесь вообще название, не название? Что вы там вообще на меня нагородили? Что там у вас, в конце концов, со мной стряслось наконец?

— Не меняли? — спросил Кравченко. — Очень странно. Ну, как знаете. И повесил трубку.

Больше Ледоходов ему не звонил.

В понедельник он проспал.

Открыл глаза, глянул на часы и, подхватившись, бросился к телефону. Возле телефона лежала записка: "Ты так сладко посапывал. Скажу, что нездоровится. Отдыхай. Обедаем вместе. Ева". Вот и работу проспал вперые в жизни, черт-те что.

Он отпихнул по-утреннему радостного Киссинджера, стал в ванной перед зеркалом и разглядывал свое отражение: седая шевелюра, черные усы, румянец на месте, взгляд голубой, зубы белые, язык розовый. Непонятно.

— Что ж мне делать до обеда?

Переливчатым контральто дилинькнул дверной звонок.

Кравченко терпеть не мог дверные звонки. Ненавидел, позвонив, ждать, пока откроют, не любил и сам никому открывать, потому что чувствовал себя при этом швейцаром без ливреи. Есть же ключ, проворчал он и пошел к двери, предвкушая, какой устроит Еве разнос.

На пороге стоял худой небритый человек на костылях, без ноги, с бутылкой водки в кармане расстегнутого пиджака.

— Что вам нужно?

— Папа, это я, Стасик. Можно к тебе?

Кравченко отшатнулся.

Заходи, конечно, заходи. Фу, Джерри, фу! На место!

"Ай-яй-яй, — пронеслось у Кравченко в голове, — это Стасик, как же так? и что теперь говорить? что же говорить? что?!"

Он открыл уже рот, чтобы предложить сыну тапочки, но спохватился. Стасик потоптался единственной ногой на мокрой тряпке, уткнул в нее костыли и повертел ими.

— Караулил, пока уедет. У вас "Лада", да?

— Да, у нас "Лада".

— Красивый цвет, — сказал Стасик. — И женщина красивая, лучше, чем на экране... Ну, здравствуй, папа.

Они обнялись.

— У тебя найдется два стакана? За встречу.

— Нет-нет, Стас, мне на работу.

— К черту твою работу! Я живой вернулся, понял?

Они сидели на кухне и пили водку.

— Как же так? — говорил Кравченко. — Почему не писал? Когда это случилось? Как мама?

— Все в порядке. Мама молодец.

— Осуждаешь меня?

— Нет. Я, папа, в госпитале долго валялся, много чего успел насообразить. Раньше, до армии, я судил каждого, я себя жалел, а теперь мне всех жалко, всех людей разом, и тебя в том числе. Себя, конечно, тоже, но локти кусать занятие праздное. Жить надо!

— И как же ты дальше?

— Это я уже тоже решил. Тоже еще в госпитале. Сапожником буду. Что смотришь? Бзик у меня такой. Понимаешь, пахучая кожа, острый нож, все это реально, не выдуманно, взял в руки, держишь вещь!

— А институт?

— Зачем он мне теперь? Что надо, и так прочесть можно. Понять. Почувствовать, в конце концов. А играть в игры скучно.

— Что ж, по-твоему, мы тут все в игры играем?

— Совершенно верно. За редким исключением.

Кравченко вздохнул:

— Ну, расскажи, как там?

— Нет, — сказал Стасик. — Слова пока не доросли, а телепать языком... Если хочешь, давай разок выпьем молча, не чокаясь.

Выпили, молчали долго. Перед Кравченко сидел человек взрослее и мудрее его самого, человек внятный и решительный. Когда-то он был его сыном, строптивым, огорчительным, но сыном. Теперь же он, обнявшись с дедами и прадедами, занял свое место в их бесконечной цепочке, а Кравченко выпавшим звеном остался где-то в стороне, в одиночестве.

Обидней всего было то, что сын его ни в чем не упрекал. Кравченко прослезился.

— Скажи, Стасик, я, наверное, подлец?

Стасик пожал плечами:

— Это было б слишком просто.

Они допили бутылку.

— Бывай, отец. Рад был повидаться. Соскучился.

— Заходи еще. Зайдешь?

Стасик ушел, стуча по лестнице костылями.

Щелкнул дверной замок. Сделалось тихо и беспросветно, и по тьме перед глазами без грохота, молча, прошлась желто-красная молния — раз, другой, третий. Что за черт. Кравченко отмахнулся. Нет, так не годится. Сел к столу, схватился за лист бумаги, за карандаш, набросал поспешно план. 1). Не он ко мне, а я к нему. С коньяком, цветами, закусками. Цветы Кравченко зачеркнул. Часы в подарок, японские. Хронометр. 2). Сцена в больнице. Он в отдельной палате. У него на пижаме орден. Мой сын — герой! 3). Он мне рад. Плачет от

счастья. Сбегаются нянечки, ходячие пациенты. "Какой у Стаса отец! Вот парню повезло. С таким не пропадешь". 4). Палата пуста. Мы вдвоем. Стас хнычет, как же теперь жить дальше. "Не робей, сынок. Все преодолеем. Мы же мужчины!" 5). "О деньгах не беспокойся. Вот тебе на первое время. И дальше..." 6). Может быть, можно, чтоб не ногу он потерял, а чтоб его просто осколком ранило?.. На последнем пункте Кравченко сломался. Ему наконец стало ясно, что ногу назад не приставить, и что она, отрезанная или оторванная, — он ведь даже толком не узнал, что случилось, — нога его сына гниет сейчас где-то среди прочих конечностей, отобранных у ребят войной, а он даже не знает, где она, нога его сына, зарыта. И зарыта ль. Надо уточнить! Он отшвырнул прочь лист с карандашом, вскочил, шагнул к телефону.

Застыл над трубкой. И неожиданно сказал себе правду: *Я не хочу об этом ничего знать. Ни слова, ни полслова. Я постараюсь впредь об этом никогда не думать...*

Кравченко напустил ванну и уселся в горячую пенную воду. И тут ему стало нехорошо. Уже не приходилось удивляться, что раньше с ним такого не случалось. Каменная боль придавила грудь и отняла дыхание. Хрипя, сотрясаемый короткими лающими всхлипами, он выбрался из ванной, дополз до аптечки, перевернул и отыскал валидол. Таблетка была последней, он ее выронил, а суетившийся вокруг него повизгивающий Киссинджер ее лизнул, и таблетка прилипла ему к языку.

— Отдай, сволочь! — страшно закричал Кравченко. — Отдай!!! — зарычал. — Отдай! — и ударил собаку в зубы. — Отдай, тебе говорят! Отдай...

Он отнял таблетку и жадно сунул ее под язык.

Привалившись к стене, он сидел на полу. Пена на нем шелестела, лопалась, стекала зудящими каплями на пол, собиралась в лужу. Доберман Киссинджер лизал его разбитую в кровь руку и участливо, с любовью заглядывал в глаза, пытал, чем помочь. Кравченко отворачивался. Жмурился. В непослушном воображении металась кресты с костылями, и голос Стаса сказал: "Да прости ты себя уже, папа. Надо ж с чего-то начинать".

Впервые с тех пор, как он стал главным редактором, он заплакал.

В течение последующих трех дней ему исполнилось пятьдесят один, пятьдесят два и пятьдесят три, а спустя неделю — пятьдесят четыре. Так не годится, сказал себе Кравченко, и ему удалось протянуть месяц, прежде чем стукнуло пятьдесят пять.

В Москве умер Ледоходов. Тихо, скромно, от старости. Просто умер без всякого подтекста.

А Кравченко вдруг вспомнил, как он с ним когда-то гонял коньяки, икрой угощал, зачем? Дурной знак. Уж не думаете ли вы, обратился он неизвестно к кому, что я имею ко всему этому хоть малейшее отношение?!

Ответа не последовало. Во всяком случае, он его не дождался.

Разладилось что-то в отлаженном механизме его существования.

Он все чаще теперь что-нибудь нечаянно забывал. А случалось, и вспоминал что-нибудь не к месту такое, что хоть стой, хоть падай. Забывал он наяву, а вспоминал все больше во сне. Теперь во сне он всегда видел сны. И всегда их, конечно же, безбожно редактировал. Но с каждым пробуждением в нем росло нехорошее предчувствие. Во-первых, он стал подозревать, что сны эти все вовсе не новые, а с полки его подсознания, куда он с успехом позапихивал их собственноручно в течение всей своей непонятной жизни, теперь же они почему-то норвят общей гурьбой, под шумок, проскочить в прокат его повседневности, а этого допустить, конечно же, ни при каких обстоятельствах нельзя, ибо с полки в прокат никак не положено, и это как раз то, что он, собственно, и умеет лучше всего на свете — держать и не пущать, но уж больно много их, больно настырны... А, во-вторых, зрело в нем еще одно подозрение, о котором он не позволял себе даже подозревать.

Кравченко подтаивал незаметно, как айсберг, и тешил себя тем, что, как айсберг, становится теперь все более опасным для проплывающих мимо представителей творческой братии. Однако даже в любимом своем занятии он утратил прежнюю легкость, стал близорук, оставлял нетронутыми десятки страниц кряду или вдруг вычеркивал совсем не то, что надо теперь вычеркивать. Любавский ему сочувствовал, наливал коньяк, ходил в гости, к себе зазывал, оберегал от глупостей. Забота его была сокрушительной. Однако без нее бы Кравченко пропал бы вовсе.

Он теперь, случалось, забывал прийти на работу. Не часто, но случалось. Просто не помнил в тот день, ни куда, ни, главное, зачем. А случалось, что забывал также и кто, кому надо туда являться. Любавский его наставлял по-отечески, журил по-свойски:

— Я, конечно же, понимаю. Что тут не понять? Тут и понимать нечего. Однако на работу ходить надо. Ну, смотри сюда, Юлий Вадимыч, надо ходить на работу? Вот видишь — надо! Еще раз. На работу ходить? Ходить! Понимаешь? Надо ходить на работу.

Поселился в нем прежде неведомый страх перед незнакомыми текстами. Он все чаще норвил их — неслыханное дело! — спихнуть на подчиненных, на кого угодно, а сам, запершись в кабинете с новыми яркими

оконными рамами и старым подслеповатым телевизором, часами редактировал разноцветных классиков из Евиной библиотеки. Ева скандалила, упрекала его в вандализме. Кравченко сносил ее упреки молча, виновато виляя чубом. Спали они теперь порознь. Он окончательно выжил с дивана в гостиной доberman Киссинджера, *по кличке Джим*, но ничто не могло избавить его от кошмаров ночи. Приходила ночь и обрекала Кравченко на просмотр нового, абсолютно непроходимого сновидения, и он редактировал что было сил, до самого утра, безо всякой надежды на успех и награду, и пробуждался по звонку с горькими привкусом поражения.

По субботам он, каменный, исправно сживал в гулком кабинете, уставившись в экран издохшего телевизора.

А по воскресеньям спал, наглотавшись таблеток, вымаливая у бездумной тьмы щепотку сил для следующей недели. А Ева проводила выходные на даче в компании Киссинджера, *по кличке Джерри*, и своих ровесников, чтобы не тревожить понапрасну пожилого человека.

Ева снялась в трех картинах, снималась в четвертой, в главной роли. Был конец весны, ее узнавали на улице, и она была счастлива.

— Бедный Юлик, — говорила она. — Непосильный труженик. Вот увидишь, я честная девушка. Звездой стану, а тебя не брошу. Вот увидишь, обязательно стану. Только не черкай книжки, это ж невыносимо.

Кравченко обещал исправиться и черкал классиков украдкой.

Теперь наяву он видел только то, что хотел, а во сне все наоборот.

И все же пришел день, после которого наступила та ночь, когда Кравченко, вздохнув на диване, прошептал в темноту:

— Все, хватит, сдаюсь. Что мне ни покажите, ничего, клянусь, менять не стану. Я человек. Я спать хочу.

И приснился ему сон, вся жизнь задом наперед, праздничная, горестная, бессюжетная. Была там Ева — тягучий миг счастья, был Станислав, говорил: "Я прощаю тебя", был Скиталец, крикнувший: "Да пропади ты, дуралей, пропадом!", были друзья-приятели, дарившие трубки и блокноты, от которых никак не избавиться, не выкинуть, странные люди, и излучали они, неправильные, не осуждение, а сочувствие, и это могло попросту доконать кого угодно, зубами скрежетать хотелось, выть на луну, были любовские, тропинины, монстры и ледоходовы, был покровитель, был и повелитель, были слуги и ослушники, хищники и жертвы, и бывшая жена в тихом достоинстве, и маленький Стасик, тянувший к нему руки: "Папа, папка!", и еще что-то, чего не вспомнишь, хоть оно было, обязательно было, первое, юное, хрупкое, никому уже не подвластное, потому что про-

шло и не повторится, и не отредактируется, а потом была мать, она сидела на пенке посреди вырубленного леса, нет, не лес, а дуг некошенный, до горизонта, и один лишь пенек, на котором мама: "Где же ты был, сынок?.. Я ждала тебя..."; и приснилось ему в том сне, что он лист, раньше был на дереве, а теперь слетел, и носит его ветер, перекатывает среди таких же, бездеревых; только б из лесу не вынесло, приснилось ему, будь что будет, но только б здесь, в чаще, а не там, в степи чужой на семи ветрах; и проснулся во сне... "Иди ко мне, Юличек, не плачь, иди к маме..."

Кравченко всхлипнул, шагнул, озарился шансом все наконец осознать, всхлипнул и умер.

Утром Ева, ничего не заметив, поцеловала его в холодный лоб и укачала с Киссинджером на дачу. Ее любящее сердце не забилося в тревоге, и даже пес не завыл, как положено на мертвеца, а лишь повизгивал и рвался на двор.

Кравченко пролежал мертвым все воскресенье.

А в понедельник утром, когда затрезвонил по-междугородному телефон, тело вздрогнуло, рука потянулась, взяла трубку, приложила ее к холодному уху. Трубка заговорила голосом координатора многих повелителей с покровителями. Она говорила коротко, властно, без обиняков. Из нее проскользнули нотки, которые непосвященному могли б показаться нотками паники; на самом же деле они выражали азарт полководца: легионы вперед, каждый легионер на счету.

В середине дня, гуляя по бульвару, я столкнулся у киностудии, на противоположной стороне рядом с бывшей афишной тумбой в тени каштана с главным редактором Кравченко. Он был поддерживаем под руку директором Любовским и казался бледнее обычного, но в остальном выглядел вполне живым. Я хотел пройти мимо, но они загородили мне дорогу, преградили путь. Кравченко протянул ко мне свободную от альянса руку, а Любовский — свою, две руки они ко мне протянули.

— Ну, — сказали, — что ты там понацарапывал? Давай сюда.

В прежней концовке тут и ставилась точка. И читатель мог сколько душе угодно гадать, что да как там дальше в этом вечном узаконенном конфликте между одними и другими, между разными полюсами, правым и левым, верхом и низом, плюсом с минусом, мною и не-мною, вами, не-вами. Но то раньше было. А сегодня рассказчика, поднаторевшего, так сразу не осадить, и он проскакивает обычный финиш и чудит слегка даль-

ше. Для начала он вынуждает нас с вами при помощи какого-то своего, положенного ему по праву рассказчика, волшебства подрасти метра так на три, что мы и проделываем, после некоторых препирательств. И как всегда, чудо свершившееся кажется уже и не чудом, а нормальным способом жизни. Прямым. Свободным. Вдохновенным. И вот нам, без малого пятиметровым, ясно видится, что, если что-нибудь никак нельзя обойти, то, оказывается, можно через это что-то взять да переступить. Переступаем — в добром расположении духа и крайне аккуратно, дабы не "на", а именно "пере". Получилось. Вот, собственно, и все. Дальнейший путь свободен. Глядим под ноги. Боремся с искушением плюнуть да растереть. Побороли. Машем тем двоим на прощанье, не из вредности, а от избытка чувств. Те же двое, в свою очередь, явно вознамерились кинуться вдогонку, вцепиться, вгрызться в щиколотки, перекусить жилы, выпить кровь. Уже прикидываем, на какую из соседних крыш нам от них податься, но тут, судя по всему, звучит секретный сигнал, и те двое, как по команде, а это и есть команда, бросаются наперегонки к трамвайной на углу остановке и рядом с божжами выпотрошенной с ночи урной втискиваются, активно работая локтями и другими твердыми сочленениями, в зыбкое шершавое междустрочье какой-то несвежей газеты, листаемой ветром на асфальте об асфальт.

- А вы-то куда, как вас там???
- А вам чего вдруг приспичило?!
- А вы с какой стати!
- А вам-то зачем?!

Брыкаясь каждый на свой манер, они споро, почти без следа пропихивают себя в истертую, прохудившуюся невидимость. Мощная иллюзия дематериализации. Там, где вот только что они стояли, преграждая путь и растопыривая свои когти, пусто. Прозрачно. Или призрачно?

Врывается в уши звонкий неповторимый голос самого красивого в мире бульвара. Птицы, ветра, ароматы, трамваи и люди звучат на разные голоса, ничего и никого не заглушая. Шелестит веселый каштан в компании с чумаком и гледичией. На месте бывшей афишной тумбы, на круге высвободившейся земли теперь трава.

Ну что ж.

Непонятно только, можно уже двигаться дальше (и, кстати, куда?) или еще что-то нужно узнать об этой истории для полного ее завершения.

Ну, например, что никто особо о Кравченко не сетовал, забыли скоро, а кое-кто и просто, как всегда, ничего не заметил, а еще, как всегда, и та-

кие сыскались, кто и вовсе не ведал, что был такой, и только Ева в разных точках своей биографии обронила о нем несколько горячих слезинок; а что сама Ева еще в 94-м, снимаясь в совместном проекте, вышла не за Шона, разумеется, Коннери, но тоже за супер их героя фильмов *экинн* и всяких триллеров, обласканного еще самим Хичкоком, и что живут они теперь на Испанском побережье, и Ева сверкает не на экране, а в жизни, он берет ее с собой на все фестивали на всех материках и еще выводит в свет для блеск-участия в собрании учредителей образованного им в год свадьбы фонда помощи жертвам стихийных бедствий, а она растит двух дочурок, и на днях к семидесятилетию супруга подарила ему сына, о чем тут же стало известно телезрителям и читателям газет всей нашей планеты вместе с новостью о том, что счастливый отец преподнес по такому случаю любимой супруге белоснежную, со стапелей, яхту "*Ева*"; или вот, что Станислав, сын Юлия, долго мытарствовал, водка мешала, обиды старые на войну, на жизнь с костылями, а потом наконец, а Тропинин, кстати, бедолага, говорят, что совсем, а Монстр в Москве на телеканале, а бывшая жена Кравченко на девичьей фамилии картины маслом пишет, а Ски-талец, автор "*Мoux kumov*", бестселлер, кстати, живет где-то в Калифорнии, а встретились мы с ним в Париже на аудиенции у далай-ламы в изгнании, а каравелла киностудийная разломилась на высокой волне и пошла обеими половинами ко дну вослед рухнувшей империи, лопнувшим связям, людям-невидимкам и пропавшему междустрочью, и в кабинете главного редактора, в *sancta sanctorum*, теперь заседает областное общество по борьбе с нашествием божьей коровки, так, во всяком случае, на двери значит, дверь эта, однако, прочно на запоре, и кто там за ней и что, остается тайной, а в приемной никого и всегда накурено, а у Любавского за столом, бывает, можно видеть говорящего по сотовому со степным гэканием весьма мутного молодого человека только что от парикмахера в шикарном костюме с чужого плеча; а еще, нас часто спрашивают, что, мол, вот вы: мы да мы всю дорогу, а кто эти мы? а мы поясняем, что мы эти — это вы, да мы, да все мы вкупе с вами вместе взятые, так что сыскать на стороне виноватого просто, господ, технически неосуществимо, даже, думаю, пробовать не стоит. Ну, вот, и это уже, вроде как, нам тоже о нас с вами рассказали, всё, что ли?

- Бога ради, — согласен рассказчик. — Отдохните себе, конечно, пока.

АНТРАКТ